

Митрополит Антоний Сурожский

Дом Божий Три беседы о Церкви

© Электронная библиотека "Митрополит Сурожский Антоний"
© Вэб-Центр "Омега" Москва 2001 г.

Содержание

Беседа первая
Беседа вторая
Беседа третья

Беседа первая

По своей природе Церковь — святыня, по историческому своему развитию и судьбе она трагична в двух отношениях. С одной стороны, она трагична, как жизнь и как смерть, как сошествие во ад Самого Христа; но трагично тоже, что при всем том, что нам дано, мы в течение всей нашей истории, то есть всей истории человечества, оказываемся недостойными того звания, которое нам дано, и того призвания, которое является нашим: быть детьми Живого Бога, быть Его свидетелями на земле, быть зачатком Царствия Божия, быть явлением этого *Царствия Божия, пришедшего в силе*.

И вот я хочу сначала подумать о самой Церкви, о том, чем она является в своей природе.

Если вы обратитесь к катехизису, вы увидите, что Церковь определяется им как общество, обладающее единством веры, единством таинств, единством священноначалия, общество, учащее жить так, как научил нас жить Христос. Но такое определение понятно только тем, кто опытно знает, что такое Церковь, потому что *единство веры* не является просто общим согласием на догматические формулировки. Вера — это *уверенность в невидимом* (Евр. 11: 1), это внутренний опыт, говорящий нам о том, что невыразимо, что может быть познано только опытом и, в конечном итоге, покоится в созерцательном молчании. Таинства для внешнего взора являются обрядами, в лучшем случае символами, тогда как для верующего, который опять-таки опытно приобщился к их содержанию, они являются приобщенностью и к Божественной жизни, и к человечеству Господа Иисуса Христа. А что касается до священноначалия, очень легко подумать, будто священноначалие стоит во главе церковного общества, подобно тому, как возглавляются различные общества, будь то государство, будь то армия, будь то какая-либо иная общественная организация. Поэтому такое определение позволяет людям только поставить перед собой вопрос: что же это за общество, которое определяется такими странными словами? Каждое из них ставит вопрос...

Для верующего каждое из этих слов имеет глубокое значение, которое раскрывается постепенно, в течение всей жизни углубляется, ширясь, становясь более светлым, более лучезарным и вместе с этим ставя нас перед лицом *Божественной тайны*, того, что святой Григорий Нисский называл Божественным мраком, то есть таким ослепляющим светом, что человек теряет способность видеть, а только может быть приобщен Самим Богом к тому, что за пределом его восприятия или понимания. И мне хочется остановиться для начала на некоторых выражениях, которые определяют Церковь не извне, а именно в церковном сознании.

Самое слово "Церковь" происходит от греческого *кириакон* — дом Божий, дом Господень. Это не только здание, состоящее из камня или кирпича; этот дом состоит из

живых камней, о которых говорит Ерм в первом своем Видении. Ему было представлено, как ангелы Божии строят Церковь, которая является одновременно и градом человеческим, и градом Божиим: градом человеческим настолько святым, настолько совершенным, что он совпадает с градом Божиим. Он достаточно глубок, достаточно духовно пространен, достаточно свят, чтобы первый Гражданин этого вечного града был Господь и Бог наш Иисус Христос, Сын Божий, ставший сыном человеческим. Но когда мы говорим о Церкви как о доме Божиим в контексте нашей жизни, трагического опыта жизни падшего мира, может быть, стоит подумать о том, что в этом мире, который Богом был создан и оказался предан человеческим отпадением от Бога — Бог не имеет, *где главу преклонить*. Он бездомен. В книге Откровения говорится: *[Я] стою у двери и стучу* (Откр. 3: 20). Эта дверь — человеческое сердце, человеческий разум, человеческая воля, человеческая жизнь; и Бог стучится, ища приюта.

Это так явственно можно видеть в странах, где Богу нет места, в странах, где царствует безбожие, где Бог не имеет права жительства. В этих странах мы можем видеть очами веры, а порой и глазами своими, как Бог находит Себе приют в человеческом сердце, уме, воле, жизни, в самой плоти человека, как это мы видим во святых. Но мы можем видеть тоже, как издревле и до сих пор на обезбоженной нашей земле созидаются храмы, здания, которые воздвигает человеческая вера человеческими руками, и где Бог у *Себя дома*. Храм — *дом убежища* для Господа Вседержителя... Эти храмы могут быть скромны или величественны, — они все равно содержат всю полноту Божественного присутствия.

Мне вспоминается, как много лет тому назад, в середине тридцатых годов, приезжал в Париж митрополит Литовский и Виленский Елевферий. Он посетил наш храм, который ютился в трущобе и был так мал, что когда Владыка вошел в храм и стоял у царских врат, его мантия была у входных дверей. Священник, встречая митрополита, благодарил его, что он пришел в такой скромный, малый, незначительный храм. И Владыка Елевферий его остановил, сказав: “Никогда не говорите о незначительности храма Божия. В храме обитает полнота Божества, ваш храм шире небес”.

А говоря уже не о здании, а о человеческой душе и теле, вмещающих Божие присутствие, мне вспоминаются слова святого Симеона Нового Богослова. Вернувшись в свою убогую келью после причащения Святых Таин, он сидит на скамье, которая ему служит и кроватью и сидением. Старый уже человек, он глядит на свои руки, созерцает свое тело и говорит: “Как страшно: эти обветшалые руки, это ветшающее и умирающее тело — это тело Самого Христа, и эта убогая келья — шире небес, потому что небеса не могут собой охватить всю полноту Живого Бога, а в этой келье, через мое телесное присутствие, потому что я причащен Святых Таин, обитает вся полнота Божества телесно”. Вот это первый образ, который приходит мне на ум, когда я слышу слово *Церковь, кириакон*.

Есть и другое слово, которое имеет свои отголоски на латинских языках. По-гречески оно звучит *эклесиа*. Это как бы общество избранников. В древних Афинах этим именем называлось полноправное собрание граждан, признанных достойными быть голосом и оплотом страны и града. Когда мы говорим об избранничестве, мы слишком часто думаем о каких-то преимуществах, но избранничество — опять-таки, как и другие аспекты Церкви, — имеет двойное значение. Христос Своим ученикам говорит: *Не вы Меня избрали, а Я вас избрал* (Ин. 15: 16), то есть выбрал, извлек из среды людей и поставил особняком для того, чтобы быть обществом иным, обществом, которое не совпадает с языческим или безбожным народом, обществом, которое приобщено к тайне Царства Божия. Но подумаем, что это избранничество представляло в жизни апостолов. Мы можем прочесть об этом в целом ряде мест Священного Писания: *Я посылаю вас, как овец среди волков* (Мф. 10: 16). *Если Меня знали, будут знать и вас*. (Ин. 15: 20). Апостол Павел дважды в посланиях к коринфянам описывает, чем сказалось в его жизни это избранничество: гонением, следованием Христу по крестному Его пути.

И вот Церковь — это общество избранных, общество людей, услышавших зов Божий, которых Бог послал и посылает в мир быть свидетелями истины Божией, жизни Божественной. И эти свидетели — мы все по призванию — должны бы так отличаться от всякого другого человека, чтобы, встречая нас, люди задумывались: что с ними случилось? почему они ни на кого не похожи?.. Английский писатель К. С. Льюис говорит, что, встречая верующего, человек должен бы так изумиться, как если бы он видел, что статуя стала живым человеком, из существования перешла в жизнь. Это второе слово, которое употреблялось в древности о Церкви: избранные, *насмртники*, говорит апостол Павел (1 Кор. 4: 9); но такие, которые смерти не боятся, для которых жизнь — Христос, смерть — желанна, приобретение, и которые, однако, готовы продолжать жить на земле, для того чтобы совершать Божие дело. Для меня, — говорит апостол Павел, — умереть не значит совлечься временной жизни, но облечься в вечность; и если мы не приобщены этой вечности уже теперь, то, конечно, смерть нам представляется как ужас и как утрата. Но если мы сколько-то поняли, пережили свою приобщенность к вечной жизни, то смерть для нас является полнотой жизни. Можно даже сказать (к этому я вернусь чуть позже), что Христос, Который является нашей жизнью, является также для нас *нашей смертью*, потому что мы должны умереть вместе с Ним по отношению ко всему, что греховно, что смертоносно, что чуждо Богу, и только тогда можем мы полностью ожить Его жизнью.

И это меня приводит к следующему определению Церкви: Церковь как *Тело Христово* (Еф. 1: 23). Это можно воспринимать поверхностно, будто она — общество, которое как бы телесно, в совокупности людей — мужчин, женщин, детей — представляет собой посланников Христа, людей, которые свидетельствуют о Нем, потому что они — в различной мере, но каждый в *свою* меру — *знают Его лично*. Но в этом определении Церкви как Тела Христова есть нечто большее. Как я упомянул уже, для того чтобы жить жизнью Христа, надо умереть смертью Христа. Об этом говорит шестая глава Послания апостола Павла к римлянам, которая читается во время крещения. Если мы действительно познали Христа как своего Бога, как своего Наставника, как Единственного, Кто — Человек в полном смысле слова, то все, что Ему чуждо, все, что делает нас непохожими на Него, все, что нас влечет от Него вдаль, должно для нас стать чуждым, должно вымереть в нас, стать даже не предметом ненависти, а просто должно перестать существовать. В этом смысле погружение в воды крещения, то есть в стихию, в которой никто из нас не может жить, которая для нас значит смерть, есть образ того, что мы так восприняли Христа, так приняли наше собственное к Нему отношение, что мы погружаемся в Его мертвость. И апостол Павел говорит: *мы носим в теле мертвость Господа Иисуса* (2 Кор. 4: 20). Конечно, это нам дается зачаточно, но это не может нам быть дано как бы безответственно. Только в ту меру, в которой эта мертвость постепенно побеждает в нас лже-жизнь, можем мы постепенно вращать в ту полноту жизни, которая есть жизнь Христа, становиться человеком по образу Сына Божия, ставшего сыном человеческим. Потому что быть человеком в полном смысле слова значит быть пронизанным Божественным присутствием. Призвание каждого из нас — стать *причастником Божеского естества*, как говорит апостол Петр (2 Пет. 1: 4).

Есть образ у апостола Павла, который мне кажется очень важным, потому что то, что я теперь сказал, может привести кого-нибудь на мысль, будто если мы становимся христианами в полном смысле слова, мы обезличиваемся, перестаем быть самими собой, делаемся как бы во множественном числе, посылно, хотя относительно, *иконами* Христа. Но это не так. Апостол Павел говорит, что через крещение, через соединение с Богом верой и таинством, через наш ответ на зов Божий и Его ответ на нашу веру мы как бы прививаемся, словно полуживая ветвь, к живоносному дереву. Образ этот такой яркий. Подумайте: ходит садовник, с любовью взирая на все то, что растет у него в саду, и вдруг замечает, что какой-то побег, который мог бы расти, цвести, начинает хиреть. Он эту веточку может привить к крепкому живоносному дереву, но что же случается? Первое,

что он должен сделать, это отрезать эту веточку, лишить ее корней, которые хоть сколько-то ее питали; из нее, как кровь, течет ее жизнь. Затем эту ветвь он приносит к тому дереву, которое должно ей дать жизнь. И опять-таки, он врезается в это дерево ножом и прикладывает рану побега к ране этого дерева: рану к ране. Соки этого дерева будут теперь литься в эту ветвь, жизнь будет в нее течь, но эта жизнь не превращает привитую ветвь во что-то чуждое ей самой, эта жизнь делает ее тем, чем она может стать совершенно. Она крепнет, она растет, на ней рождаются листья, на ней будут плоды, она становится самой собой в полном смысле этого слова. А какой ценой? — ужасом перед возможной смертью и ужасом о том, что она исцелена только раной животворного дерева, как у пророка Исаии говорится: *Ранами Его мы исцелились* (Ис. 53: 5).

Эта приобщенность ко Христу начинается с голоса Божия, который до нас доходит, касается нашего ума, который трогает наше сердце, поднимает волной нашу волю в сторону добра, истины, света. В нас расцветает тогда вера, то есть уверенность: то, что мы слышали, что мы видели, то, что мы пережили — более истинно, нежели что бы то ни было из окружающего нас, более истинно, чем то, чем ранее являлась наша жизнь. А дальше мы можем только открыться Богу. Своими силами мы этого осуществить не можем. Мы не можем стать новой тварью своими силами; не можем мы осуществить наше предельное призвание своей волей и своей крепостью. Апостол Павел перед лицом величия своего призвания, видя свою немощь, взывал к Господу о силе, и Господь ему ответил: *Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи* (2 Кор. 12: 9). Не в той немощи, которая всем нам известна: не в лени, косности, трусости, а в другой немощи: в прозрачности свету Божию, в отдаче себя гибко, без сопротивления, в руку Божию. И тогда, опять-таки по слову апостола Павла, все делается нам возможным *в укрепляющей нас силе Господа нашего Иисуса Христа* (Флп. 4: 13). Тогда мы станем настоящим человеком, то есть хотя бы зачаточно бого-человеком.

Мне хочется еще сказать о последнем определении Церкви: *столп и утверждение истины* (1 Тим. 3: 15), оплот истины. Истина по-гречески называется *алифия*, а это слово одного корня с названием Леты, мифической реки, через которую усопшие должны были пройти в царство теней и у которой было страшное свойство размывать всякое воспоминание. И вот истина как *алифия* ничем не может быть размита, и Церковь является оплотом этой вечной пребывающей истины. Отец Павел Флоренский слово “истина” производит от слова “есть”: истина — это то, что есть, *естина*: то, что не может быть уничтожено. Вот чем должна быть Церковь: хранительницей полноты истины, то есть всего того, что есть Бог, всего того, что есть человек и тварь; и всего того, что нам провозглашает Бог, пришедший плотью. Если мы так думаем о Церкви, тогда понятно делается, почему можно определить Церковь как Бого-человеческое общество, в котором как бы на равных началах присутствует полнота Божества и полнота человечества. Полнота Божества — потому что вся полнота Божества обитала и обитает телесно во Христе (Кол. 2: 9), потому что Богом и Отцом дан Церкви в день Пятидесятницы Дух Святой, Который не только на ней почил, но Который является ее жизнью; потому что во Христе и силой Святого Духа, по изумительному слову Иринея Лионского, мы призваны в Единородном Сыне Божиим стать *единородным Божиим сыном*. Пока мы еще на пути — и, однако, этот путь завершен. Церковь в этом смысле — эсхатологическое общество, в котором все решительно совершилось и которое, однако, еще в становлении. Совершилось явление человека в полной его славе в Лице Господа Иисуса Христа. Продвижение совершается: это тайна приобщения, которую мы видим во святых и видим зачаточно, в их борении и несовершенстве, и в грешниках.

Но не только Божество, но и человечество в Церкви нам открывается по-новому. Полнота и совершенство человечества — во Христе, человечество в становлении — в каждом из нас. Церковь — таинственное Бого-человеческое общество, которое постепенно вырастает в меру своего призвания, в котором зажигаются огни, до того времени, когда вся Церковь станет *купиной неопалимой*.

Вот что я хотел сказать вам сегодня. В дальнейших беседах я попробую развить эту тему Церкви не столько по отношению к ее полноте, сколько по отношению к ее историческому становлению. Сейчас, если я могу ответить на какие-нибудь вопросы, я это сделаю, но лучше было бы, чтобы те из вас, у которых есть ответы, прибавили их к тому, что я сказал.

Я не совсем понимаю боль Христа и Его смерть за нас. Ведь Он безгрешный. Я понимаю, что нам надо умереть, но что такое Его мертвость?

Есть разные подходы к этому. Я употребил это выражение, имея в виду, что все, что является грехом, и все, что к греху нас влечет как соблазн, для Христа просто чуждо, что ко всему, что является злом, Он относится, словно труп. На рождественской всенощной читается место из седьмой главы пророка Исаии, где в греческом и славянском переводах говорится, что от Девы родится младенец, который, раньше чем сумеет распознать добро от зла, выберет добро. Наша способность (несчастливая способность!) испытывать влечение и к добру и ко злу является результатом той глубокой болезни духа и душевности и телесности, которую мы называем греховностью. Христос, рожденный без греха, чужд этому. Но с другой стороны, Сын Божий, становясь сыном человеческим, приобщается к опыту тварности. Он воспринимает на Себя телесность, которая Его делает родным всему телесному; Он — подлинный, истинный человек, одновременно, через Свою телесность, сродни всему материальному миру. Каждый атом, самая величественная галактика может узнать в Нем себя, свою материальность, прославленную, какой она призвана быть, когда, по слову апостола Павла, *Бог будет всё во всем* (1 Кор. 15: 28). Когда мы говорим о нашей приобщенности мертвости Христовой, мы говорим, что готовы бороться насмерть со всем, что нас влечет к тому, что чуждо Богу, к тому, что было причиной воплощения, распятия, смерти, сошествия во ад Спасителя Христа. Если бы мы могли с яркостью пережить тот ужас, который, например, описывается в песнопениях Великого четверга, Великой пятницы: *О Жизнь вечная, как Ты умираешь? О Свет невечерний, как Ты потухаешь?..* — если бы мы могли это понять и пережить, сколько соблазнов стали бы для нас не только чужды, но невозможны, вызывали бы в нас ужас, вызывали бы в нас сознание, что если только мы допустим себе поползновение в этом направлении, то мы станем соучастниками тех, которые засудили Христа, которые предали Его, которые убили Его. Вот о какой мертвости мы можем говорить в себе самих. Вероятно, есть и другие подходы, о которых я сейчас не могу подумать.

Вы сказали, что Церковь — это общество людей, избранных Богом. Бог стучится нам в сердце — и оттуда доносится звук радио или что-нибудь еще... и тогда Он идет куда-то дальше. До некоторых Ему удастся достучаться. Но люди тоже колотятся. Он Сам сказал: стучитесь; если вы будете стучаться, то Я не отвернусь от вас, даже если среди ночи будете это делать... Те, кто не является частью Церкви и стучатся — делаются как бы ее частью? или это происходит, только когда они встретятся? Как это происходит? Меня беспокоит другая часть человечества...

Что Бог стучится в наше сердце, в наше сознание, в нашу жизнь — это ясно; это бывает на опыте большинства людей верующих. Но вместе с этим в каждом человеке есть голод: голод по такой полноте, что его не может удовлетворить ничто вещественное. Я помню, архиепископ Михаил Рамзей говорил, что в каждом человеке есть такая глубина, такая широта, которой ничто тварное не может заполнить. Мы стараемся в эту бездну кинуть и вещество, и красоту, и чувство, и, как камешки, все эти тварные предметы падают в глубину, и мы даже не слышим, как они трогают дно, потому что дна-то нет. Человек такой емкости, что только Бог может заполнить Собой эту глубину. Но этот голод не всегда находит свое имя, потому что когда живешь в определенном обществе, легко найти то или другое имя и привязаться к нему. В еврейском обществе будет одно имя, в

христианском другое, и т.д.; но в основе должен быть этот голод. В каком-то смысле для начала он важнее, чем имя, потому что не будь этого голода, имя будет только наклейкой на душу, на сознание. И мы должны относиться очень бережно и осторожно к тем, которые не христиане или не верят в Бога Ветхого и Нового Завета, и к тем, которые вообще являются без-божниками или, во всяком случае, идейно, мировоззренчески себя считают таковыми. Бога никто *выдумать* не может. Можно, пережив нечто, называть это различными именами. Это могут быть языческие суеверия, языческие боги или иные верования, но для того, чтобы о *Боге* говорить, надо хотя бы *коснуться края Его ризы*. И мы очень легко, слишком легко, мне кажется, говорим, что Бог как бы является нашей собственностью, что мы хранители веры и что у других вообще ничего нет.

Мне вспоминается в этом отношении разговор, который в тридцатые годы у меня был с Владимиром Николаевичем Лосским. Он тогда был очень отрицательно настроен против восточных религий. Мы это долго обсуждали, и он твердо мне сказал: “Нет, в них истины нет!” Я пришел домой, взял книгу Упанишад, выписал восемь цитат, вернулся к нему и говорю: “Владимир Николаевич, я, читая святых отцов, всегда делаю выписки и пишу имя того, кому принадлежит данное изречение, а вот тут у меня восемь изречений без авторов. Можете ли вы “по звуку” их узнать?” Он взял мои восемь цитат из Упанишад, взглянул и в течение двух минут назвал имена восьми отцов Православной Церкви. Тогда я ему сказал, откуда это взято... Это послужило какому-то началу пересмотра им этого вопроса. Это не значит, что мы должны отождествлять веру, которую получаем во Христе и от Христа, с другими верованиями; но как мы должны быть осторожны, когда мы *судим* о другой вере! Вы, наверное, помните, как Паскаль взывал к Богу: “Откройся мне!” — и как Христос в его сердце ему ответил: “Ты Меня не искал бы, если бы уже Меня не нашел”. Мы можем искать только то, о чем имеем какое-то внутреннее понятие.

А второе, что я хочу сказать, может быть, более соблазнительно, но я думаю, что оно справедливо. Христос — *все-человек*, объемлющий Собой *весь* человеческий опыт *без ограничения*. И когда Он умер на кресте, Он мог умереть, только потеряв (в Своем человечестве, конечно) общение с Богом. Его слова: *Боже Мой, Боже Мой, зачем Ты Меня оставил?!* — слова Того, Кто, оставаясь в Своем человечестве безгрешным, в Своем Божестве единым с Отцом, оказался без Бога, обезбоженный. И нет ни одного безбожника, который когда-либо пережил или мог пережить обезбожение так, как его пережил Сын Божий, пришедший плотью к нам. Поэтому и тут нам надо с большой осторожностью относиться не только к мировоззрению, но к переживанию того, кто говорит: “У меня нет Бога”. Христос это *знает* на собственном человеческом опыте; мы этого не знаем, потому что даже в те периоды, когда кто-либо из нас не знал Бога или был чужд Богу, он не мог измерить расстояние между полным единством с Богом и полной Его потерей, как Христос это пережил.

Значит ли это, что атеист утоляет свой голод, наклеивая отрицательные этикетки?

Я думаю (но опять-таки, это мнение, это не вещательство), что человек не может жить без какого-либо ответа на существующий в его жизни или душе вопрос. Поэтому если у тебя нет Бога, то ты *должен* иметь мировоззрение, которое тебе позволяет жить; без этого вовсе жить нельзя. Как-то я говорил с одним из представителей Совета по делам религий, Петром Власьичем Макарецевым. Мы говорили о безбожии, и он воскликнул: “Ведь человек без веры жить не может!” Он имел в виду не религиозную веру, а веру в том смысле, что у него были такие убеждения, за которые он готов был стоять и ради которых он готов был жить. И вот в этом отношении, мне кажется, приходится быть очень вдумчивым и осторожным. Мы можем не соглашаться, мы даже не можем соглашаться с тем или другим, но мы должны ставить перед собой вопрос: если человек так чувствует, если таков его опыт, как я могу этот опыт обогатить? Потому что его отрицать, вырвать существующий опыт, не заменив его чем-то иным, бессмысленно.

Пока будут другие вопросы, я хотел бы спросить: как часто у вас бывают такие собеседования, какова практика таких собеседований?

Практика такова. Первые годы, что я был здесь, лет сорок тому назад, у нас была довольно большая русская группа, все говорили по-русски, за исключением, может быть, одного-двух человек, мужей или жен православных русских; и тогда у нас бывали беседы еженедельно. Потом стали появляться люди английского языка; к тому времени я немножко научился английскому, и мы начали вести беседы и по-английски. А потом был долгий период, когда русских бесед не было, потому что все русские, жившие здесь, говорили по-английски лучше меня, для них специальные беседы не были нужны. И мы стали вести беседы, сначала еженедельные, а потом, когда я стал подуставать, два раза в месяц, на английском языке. За последние полтора-два года, когда открылся путь из России на Запад и стали приезжать русские из Советского Союза, не говорящие на английском языке, или такие, которые хоть говорят, но, конечно, не живут им, мы возобновили русские беседы, и теперь они происходят раз в месяц. Если окажется, что русская группа окрепнет, если участники будут приходить регулярно, тогда, может быть, мы устроим и вторую беседу в месяц; но в данное время посещаемость такая неопределенная, число приходящих колеблется между, скажем, четырьмя и тридцатью пятью, что устроить две беседы мне кажется неразумно: тогда разобьются еще больше и вместо четырех человек будет два.

Четыре раза в год у нас бывает одна суббота, которая называется “говение”: два раза в год на английском языке, два раза в год на русском языке. Происходит это так: мы начинаем с молитвы, как мы сегодня начинали, затем я провожу беседу, которая длится минут сорок, после этого период молчания, приблизительно три четверти часа или час, когда все обязаны молчать. Кто не в состоянии молчать — идет в ризницу, но в храме никто не говорит, не мешает другим “вмолчаться” в тишину и внутреннюю и церковную, потому что в церкви есть своя тишина. Один французский писатель так описывал переживания одного из своих героев: этот человек услышал тишину и вдруг понял, что эта тишина — живое Божие присутствие... Так что я беспощадно требую, чтобы люди не мешали другим вмолчаться в свои глубины. Затем мы вместе питаемся, то есть каждый приносит что-то свое, и мы в складчину едим то, что принесено, пьем чай. Потом вторая беседа и второе молчание, а затем общая исповедь, которую я провожу не так, как в России проводят общие исповеди. Она проходит так: я читаю ряд молитв из службы подготовительной к причастию, но опять-таки не все; затем я произношу вслух исповедь, которая — *моя* исповедь перед Богом, в контексте тех двух бесед, которые я проводил; они тематичны, и исповедь тоже тематична в этом смысле. Она длится обычно минут двадцать-тридцать-сорок. Это зависит не от моей греховности, а от содержания бесед, от содержания молитв, — чем они меня вдохновили. Затем мы снова коротко молимся, и затем все получают разрешительную молитву. Если почему-либо кто-то хочет исповедоваться отдельно, это возможно, но большей частью никто не приходит, потому что такая исповедь объемлет достаточное поле греховности или внутренней жизни. И после этого в воскресный день все, кто был на этом говении, могут причащаться.

Об исповеди я скажу еще следующее. Вот уже сорок с лишним лет мы разделили исповедь от причастия, то есть верующий не обязан исповедоваться перед каждым причащением. Это требует значительной зрелости, это требует и руководства со стороны священника. Причина тому: дореволюционная практика вела к тому, что человек, желающий причаститься, приходил на исповедь, собрав сколько-то грешков. Конечно, некоторые люди приходили с большой тяжестью, но те приходили не обязательно ради причастия, а ради самой исповеди. Но часто люди приходили с очень поверхностной исповедью, с такой исповедью, которой взрослый человек не имеет права приносить, или с таким чувством: “Ну да, я пришел, исповедовал свои повседневные грехи, поэтому имею право получить разрешительную молитву и причаститься”... Первый год, что я был здесь,

у меня были очень резкие столкновения с некоторыми такими исповедниками. Я помню, один человек пришел: “Батюшка, я, как все, грешен”. Я говорю: “Я не знаю, как все грешны, а как вы грешны?” — “Ну, грешен...” — “Нет, вы должны исповедоваться более серьезно”. Тот начал раздражаться: “Ну что вам еще сказать: я пришел на исповедь, я имею право на разрешительную молитву и завтра на причастие!” Я говорю: “Нет, и разрешительной молитвы я вам не дам, и причаститься вы не придете, — идите домой и подумайте”... Другой был случай. Пришел человек, говорит: “Всем грешен”. Я ответил: “Не может быть!” — “Да нет, всем, всем грешен”... Я говорю: “Слушайте, возьмите заповеди десятизловия. Неужели вы грешили против каждой из этих заповедей?! Я вас знаю как честного, добротного человека, и вы мне говорите, что вы вор...” — “То есть как, батюшка?!” — “Очень ясно: есть заповедь, говорящая “не укради”. Если вы всем согрешили, вы крали, а это по-русски называется быть вором”. — “Ну нет, батюшка!” — “А еще я вас всегда считал порядочным человеком, и вы мне спокойно объявляете, что вы прелюбодей!?” — “Батюшка, как вы смеете меня оскорблять!” — “Я вас не оскорбляю. Есть заповедь “не сотвори прелюбодеяния”. Вы мне говорите, что всем виноваты, значит, и этим виноваты”. — “О, — говорит, — я не задумывался над этим”. — “Вот пойдите домой и задумайтесь! Когда додумаетесь до чего-то, что является конкретным вашим грехом, тогда придете исповедоваться”.

Война была долгая, и мы так разделили, что человек приходит исповедоваться, когда в нем созреет содержание исповеди. Тогда священник может или дать разрешительную молитву, или сказать, что тот недостаточно подготовился, исповедь его слишком поверхностна: иди домой подумай... Или священник может сказать: причащайся... Или может сказать: в том, что ты исповедался, ты должен сначала созреть к причастию, — не причащайся, приходи на исповедь снова через какой-то срок... Или может сказать: хорошо, теперь причащайся несколько раз сряду, пока ты чувствуешь, что ты в мире с Богом, со своей совестью, со своим ближним, и, как Исаак Сирий говорил, с вещами, которыми ты обладаешь...

И результат этого, мне кажется, очень плодотворный, потому что люди приходят исповедоваться всерьез, очень серьезно и содержательно. Конечно, люди не становятся святыми, потому что хорошо исповедовались, но они хотя бы исповедовались честно, вдумчиво, и приходят к причастию не “по праву”, а в соотношении со своей исповедью. Я помню, я об этом говорил в Загорске, и один из студентов Духовной Академии отреагировал: “Ну, Владыко, вы, значит, не православный, потому что у нас так не заведено”. Я обратил его внимание на то, что нет ни одного церковного правила, требующего исповеди перед причащением. Есть рескрипт Петра Великого, который был написан из политических целей, для проверки исповедающихся, но это совершенно другого рода вещь.

Очень многие через исповедь, которую я произношу от себя, научились исповедоваться, то есть говорить о содержании своей души и жизни, а не только приносить список каких-то грешков. У меня часто бывало чувство, что человек приходит и приносит список каких-то именно “грешков”, которые не по масштабу самого человека. Я детям как-то говорил, что люди иногда собирают грешки, как человек, который знает, что должен пройти мимо кусачей собаки, и берет с собой кость. Та подойдет — он бросит собаке кость, и пока она ее грызет, сам прошмыгнет. Вот этого нельзя допускать, мне кажется, ни в себе, ни в других.

Беседа вторая

Раньше чем приступить к очередной беседе, я хочу приветствовать среди нас Владыку Анатолия, которого мы давно и долго ожидали — с надеждой и с большой радостью. Те из нас, которые уже имели случай с ним общаться, увидели, что не напрасно мы его ожидали и не напрасно радовались на его приезд. Сегодня он первый раз у нас на беседе и теперь может познакомиться с каждым из нас лично. К нему через меня уже

поступает просьба не отказаться исповедовать людей русского языка, потому что в этом большая нужда. Я думаю, что лучше всего было бы это делать по стовору, чтобы Владыку не отрывать от самого богослужения, но это не так трудно осуществить, и я уверен, что Владыка не откажется.

Епископ Анатолий: Как благословите, Владыко, я делаю с Вашего благословения, здесь не может быть отказа.

Митрополит Антоний: Знаете, Владыко, с моего благословения — оно очень хорошо, но все-таки надо соблюдать и свою какую-то нравственную свободу. Я помню, в первый раз, что Владыка Никодим приезжал в Англию еще архимандритом, он у нас обедал, и на все мои вопросы: хотите хлеба? хотите того? хотите другого? — отвечал: “Как благословите”. Наконец я говорю: “Хотите молока или лимона в чай?” — “Как благословите”. Я ответил: “Я вас благословляю мне *правду* сказать”. Так что вот.

* * *

Прошлый раз я начал говорить о Церкви и пробовал объяснить наименования Церкви: Церковь как *кириакон*, дом Божий, Церковь как *эклесиа*, полноправный народ Божий, и т.д. И кончил я свою беседу очень коротким замечанием о том, что по существу Церковь является Бого-человеческим обществом, обществом, как ни дерзновенно так выразиться, в равной мере *и* Божественным *и* человеческим. На этом я хочу остановиться, раньше чем двинуться вперед.

Церковь можно определить как место встречи между Богом и человеком, но встречи не мимолетной, встречи окончательной. Через воплощение Сына Божия вся полнота Божества, обитающая в Нем телесно (Кол. 2: 9), является центральным опытом Церкви. Кроме того, в день Пятидесятницы Спаситель от Отца послал на Церковь Духа Святого, Который в ней почил, Который в ней живет, Который в ней действует; и во Христе и во Святом Духе мы соединены с Богом и Отцом. Таким образом, присутствие Божие в Церкви явно и во Христе и в Духе, и приводит нас к Отцу нашему Небесному.

Что же касается человечества, то человечество в Церкви мы можем видеть двояким образом. Во Христе мы видим человека в его полноте и совершенстве, потому что лишь поскольку человек един с Богом, он вполне *человек* и совершенен в своем призвании. И конечно, единственный Человек в нашей истории, Который достиг этой меры или, вернее, Который явил *эту* меру, это Христос Спаситель, Который в равной мере, одновременно — и подлинный, совершенный человек, и подлинный, совершенный Сын Божий, Бог. Таким образом, в Церкви мы во Христе видим, чем призван быть человек, что такое человек. Об этом в одной из своих проповедей ясно говорит Иоанн Златоуст: если вы хотите познать, что такое человек, не озирайтесь на престолы царей или на дома вельмож, — поднимите глаза к престолу Божию, и вы увидите восседающего во славе Сына Человеческого, Господа Иисуса Христа...

Но с другой стороны, есть в Церкви и иное человечество — наше, человечество несовершенное, человечество греховное, человечество в продвижении к своему призванию — или наоборот, все дальше от него отпадающее. Человечество эмпирическое, которое мы знаем, в этом отношении двусмысленно, потому что нам дана свобода выбора между Богом и Его противником, между жизнью и смертью, между добром и злом, между тем, чтобы выполнить свое призвание — или от него отречься, мимо него пройти. Поэтому, поскольку мы смотрим на Церковь с точки зрения эмпирической, она представляется нам как свет во тьме, о которой говорит апостол Иоанн Богослов в своем Евангелии: *Свет во тьме светит*, и тьма — и вот тут на греческом языке игра слов — с одной стороны, не принимает его, с другой стороны — не может его угасить (Ин. 1: 5).

В этом отношении можно сказать, что Церковь — эсхатологическое явление. Это слово опять-таки греческое, *тон эсхатон*, и обозначает две вещи: или совершившееся, или решительно случившееся. Совершившееся — это воплощение Слова Божия. В каком-то отношении конец времен (не как “конец времени”, а то, что должно в конечном итоге быть явлено во времени) уже совершен. Есть один Человек, Который обо ’жен до конца.

По слову апостола Петра, обращенному к каждому из нас, это наше призвание: стать *причастниками Божеского естества* (2 Пет. 1: 4). В Своем человечестве Христос уже является тем, чем призван стать каждый человек и *может* стать каждый человек, если только он ответит на свое призвание. Пока эта осуществленность нам видна только в Господе нашем Иисусе Христе. Но опять-таки, с другой стороны, явление Христа, воплощение Сына Божия — событие *решающее*, потому что то разделение, та пропасть, которая прежде существовала между Богом и человечеством, уже как бы закрыта. И она закрыта в гораздо большей даже мере, чем мы себе это представляем. Вы, наверное, помните из служб Страстной седмицы о сошествии Христа в ад. Ад Ветхого Завета — не тот ад, который мы видим описанным у Данте или в полуфольклорной-полубогословской литературе; это не место мучения, не место наказания, это нечто гораздо более страшное. Тот *шеол*, который описан в Ветхом Завете, это не место, куда идут грешники, это то место, куда идут все умирающие — потому что все отделены от Бога. Да, в этих глубинах есть разные как бы области. Вы, верно, помните из притчи о богаче и Лазаре, что Лазарь почит в лоне Авраамовом, в месте упокоения, тогда как богач страдает, просит милости у тех, кого он оставил без милости; и однако и тот и другой находятся в страшном отдалении от Бога, в месте Божия отсутствия. Одни остаются связаны с Богом верой, внутренней верностью, молитвой, праведностью своей прошлой жизни, ожиданием (и это решающий момент) Мессии, ожиданием Спасителя, Который разрушит средостение между Богом и человеком, отпадшим от Бога собственной волей. Христос спускается в эти глубины, и тут объясняется место псалма, где говорится: *Куда, Господи, пойду я от Тебя? на небесах Твой престол, в аду — и там Ты еси* (ср. Пс. 138: 7-8). Это пророческое слово, потому что оно противоречит тому именно представлению об аде, которое характеризовало в то время, ветхозаветному представлению об аде как о месте, где Бога нет, о месте, где только тоска по Богу, вера Ему, поклонение Ему — как бы в Его отсутствие. Этот стих псалма объясняется именно так; он пророчески говорит, что после распятия Христа, пока тело Его обоженное лежало во гробе, человеческая душа Христова во славе Своего Божества сошла во ад и исполнила, то есть заполнила собой все. *Ад, где твое жало? Смерть, где твоя победа?..* В этом отношении, когда мы говорим о человечестве и о Церкви, мы должны понимать, что в человечестве есть один абсолютно ясный светоч — это Христос, и затем есть все остальное человечество, которое находится в борении, в становлении, отпадая, восставая, идя к Богу или удаляясь от Него. И поэтому человечество и Божество соединены в таинственное общество, — но общество это в становлении. Это общество, которое Самарин называл *организмом любви*, потому что Бог, являющийся любовью неизреченной, Собой его наполняет, Бог является его жизнью, Бог является Тем, Который постепенно превращает полумрак в полусвет и полусвет в полный свет дневной. Но то, что случилось в день воплощения Слова Божия, в день Богоявления, то есть крещения Христа, в день Его распятия, смерти, сошествия во ад, Воскресения, вознесения — все это, как дрожжи, действует в человеческой истории.

И вот во Христе Церковь уже является тем, чем она призвана быть, является также в значительной — большей или меньшей — мере в Его святых, и в меньшей мере в тех из грешников, которые рвутся к Богу. Святой Ефрем Сирийский, говоря о Церкви, определяет ее так: Церковь не является обществом святых, она является толпой кающихся грешников... Решающее слово, конечно, “кающиеся”, потому что недостаточно быть грешником, надо быть Бого-обращенным грешником; и слово “кающийся” именно об этом говорит. Кающийся — не тот, который плачет над собой, сетует о своих грехах, но не поворачивается лицом к Богу, не рвется к Нему. Мы постоянно горюем *о себе*, но не обязательно в результате этого мы отрываемся от того, что нас и поработывает, и ранит, и убивает, и мучает, ради того, чтобы повернуться лицом к Богу, устремиться к Нему хоть *отчаянным* желанием своим. А Церковь состоит из тех людей, которые именно *так* каются, рвутся к Богу, кричат к Нему: Из глубины, Господи, воззвах к Тебе — услыши меня! Услыши меня. Господи!..

Далее, о Церкви мы говорим в Символе веры: *единая, святая, соборная, апостольская*.

Единство Церкви определяется единством Бога и единством людей с Ним. Это не человеческий стговор о том, чтобы остаться неразрывно друг с другом, — такое единство разбилось бы давным-давно, и оно не было бы творческим, оно было бы постоянным колебанием. Единство Церкви покоится в единстве Бога. Уже богословы древности говорили (как говорят и богословы современности), что учение о Святой Троице — это учение о совершенном обществе: о Трех, Которые являются Единством, и о Единстве, Которое выражается в Троичности. Это образ, к которому призвана Церковь. И постольку, поскольку Церковь как бы содержима в этом образе, поскольку Христос сказал: *Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас* (Ин. 14: 20), то Церковь в этом отношении уже является единством, — и вместе с тем единством в становлении; единством, которого *ничто* не может разрушить или поколебать, куда не могла бы вкрасться трещина, и вместе с этим в плане человеческом в ней есть некая разъединенность еще не слившегося человечества.

О *святости* Церкви также можно сказать, что, конечно, она не является суммой святости ее членов. Святость Церкви — это святость живущего в ней Бога, Пресвятой Троицы.

Что же сказать о *соборности*? Не противоречит ли понятие соборности тому, что я сказал: что то или другое в Церкви не является суммой трудов, устремлений, святости человеческой? Нет, потому что соборность не является человеческим единодушием о Боге, или о вещах Божественных, или о человеке, или о твари. Через соборность Церкви должно быть явлено то, что апостол Павел называет *умом Христовым* (1 Кор. 2: 16). Каждый из нас призван через веру в Спасителя, через тесное с Ним единение, через общение в таинствах так с Ним сродниться, так стать единым с Ним, чтобы наши мысли были Его мыслями, наши чувства — Его чувствами, наша воля — Его волей. Не в том, конечно, смысле, чтобы Его мысли, Его воля, Его чувства вытеснили все наше собственное, а в том, чтобы то несовершенное понимание, несовершенная любовь, несовершенная воля, которые в нас качествуют, были бы оздоровлены, пронизаны Божественным светом, пронизаны истиной и жизнью и светом. Церковные Соборы, например, не искали соглашения между их участниками на ту или другую тему, они искали того, что *Бог* им откроет на эту тему, — искали молитвенно, любовью общаясь друг со другом, отказываясь посылно от всякого самомнения, самолюбия, искания *своего*, отказываясь от всего, кроме как от совместного искания правды Божией. И соборная истина Церкви в конечном итоге должна совпадать безусловно с *умом Христовым*, с мыслью, замыслом, путями Божиими.

И наконец, Церковь определяется как *апостольская*, потому что учение Христа и учение о Христе дошло до нас через святых апостолов, через евангельское повествование, через их проповедь, через установление ими церковных общин, через написание ими четырех Евангелий, через их послания; через то воспитание, тот пример, ту отдачу своей жизни, которую явили апостолы.

На эту тему можно сказать еще нечто. В древности, когда поднимался какой-нибудь вопрос о вере, о церковном устройстве, люди обращались к той или другой общине, основанной одним из апостолов, где он учил, проповедовал и действовал и, порой, умирал. К этой общине обращались с вопросом: чему вас научил Петр? чему вас учил Павел? что вам говорил Варнава? и так далее... В первое время это было относительно просто в том смысле, что даже после смерти апостолов там были еще люди, которые их знали, которые их слышали, видели, которые могли свидетельствовать о том, что они сами слышали и видели, чему они были научены. Позже воспоминание осталось только посредственное, не в современном смысле слова — “несовершенное”, а — опосредованное, путем посредников. Но слово апостольское, слово Самого Христа переживалось как такая драгоценность, такая святость, что в течение долгого времени люди повторяли точно то, чему они были научены. Вы, наверное, знаете, что в тех

культурах, где письменная образованность не преобладает, где люди передают изустно то, чем они хотят друг с другом поделиться, — в этих культурах очень точно и очень верно передается то, что когда-то было услышано. Таким образом, был целый ряд церковных общин, которые считались апостольскими, основанными апостолами или слышавшими их учение.

Но тогда встает вопрос о том, где границы Церкви. Ведь уже в эпоху апостолов были разногласия. Мы находим у апостола Павла целый ряд мест, где он обличает людей, уклоняющихся от здравого учения. Он пишет об этом Титу, Тимофею, призывая их настаивать, учить, убеждать людей не отклоняться от той истины, которая первично была им передана в своей чистоте очевидцами Слова, очевидцами жизни Христа, людьми, которые слышали Его непосредственно, и самыми приближенными, которые были отделены от Него только одним поколением. С другой стороны, мы знаем, что апостол Павел, предвидя (да и в его время они были) разногласия, разделения, споры, не отчаивался. В одном месте своих посланий он говорит, что ему все равно, с каким намерением люди проповедуют Христа, — даже если они проповедуют для собственной славы, для того чтобы возвысить себя: как бы они ни проповедовали, с каким бы намерением они ни проповедовали, проповедуют-то они — Христа. С другой стороны, он говорил, что разделениям надлежит быть неизбежно, потому что познание Бога — не умственное познание, это опытное познание, и достигается оно целой жизнью, внутренним борением, способностью вслушаться в голос Святого Духа, говорящего в нас. И поэтому неизбежно, что одни слышат ясно, а другие притупленно; и должны быть обсуждения. Но при обсуждениях среди людей бывают разногласия и споры, и по этому поводу он говорит, что и этого не надо бояться: эти расхождения неизбежны, чтобы наиболее мудрые были явлены (см. 1 Кор. 11: 19), чтобы те, которые могут свидетельствовать о Божией правде наиболее совершенно, рано или поздно были узнаны; в их словах будет узнана Божия правда, Божия истина. Поэтому когда мы говорим о том, едина ли Церковь, разделена ли она, в каком-то отношении можно сказать, что она едина, что всякий человек, верующий во Христа, всякий человек, всецело, со всей честностью и добротностью принимающий учение Христа и живущий по нему, является живой клеткой этой тайны Церкви, которая является в первую очередь тайной встречи каждого человека с Живым Богом, местом этой встречи и путем к этой встрече.

С другой стороны, мы знаем, что человеческое несовершенство часто ведет к извращению даже самых ясных утверждений Священного Писания. Тут играет роль не только личное непонимание, но порой разрушающее, разрушительное несовершенство проповеди, извращающей учение или облик Христа. И тут вступает в силу понятие разделенности на другом уровне. Однако и тут мы должны помнить, что это не конец всего. В Церкви мы говорим о ересь и о расколах. Ересь — это лжеучение; раскол — это расхождение между людьми не на вероучительном основании, а по другим причинам. Но если мы говорим о ереси и о расколе, то мы этим же утверждаем, что люди, отпавшие от истины или от единства, все еще остаются христианами. Мы ведь не называем еретиком или раскольником буддиста, мусульманина или язычника: чтобы быть еретиком или раскольником, надо быть христианином. И это мы очень легко забываем в минуты полемических споров. И однако есть очень интересные данные в этом отношении. Я вам приведу сейчас всего два примера, чтобы не задерживать ваше терпение и ваше внимание дольше пристойного времени.

Первый пример взят из древней христианской литературы, из книги Иоанна Мосха “Луг духовный”. Он рассказывает несколько случаев, которые мне врезались в память, когда я впервые их прочел, потому что они шли наперекор тому, чему меня до того учили, и это меня заставило задуматься. Первый рассказ о том, как чистосердечный священник чистой, святой жизни придерживался какого-то еретического учения. Его дьякон был правоверный православный, и у него болела душа о том, что его настоятель, такой светлый, такой чистый пример истинно-евангельской жизни, догматически

придерживается лжеучения. И как-то дьякон ему об этом сказал. Священник возразил: Как же это может быть? каждый раз, когда я совершаю литургию, в момент освящения Даров мне сослужат два ангела. Они не могли бы сослужить с еретиком!.. Потом в простоте своего сердца он говорит: А я их спрошу, кто прав: ты или я... И вот во время богослужения после освящения Даров он остановился и обратился к ангелам: Мой дьякон, который образованнее меня, говорит, что я придерживаюсь ложного учения, а вы со мной сослужите. Как это может быть?.. И один из ангелов ему говорит: Мы сослужим тебе по велению Божию ради чистоты твоего сердца; а не сказали мы ничего тебе, потому что нам было велено не отнимать у твоего дьякона возможности проявить к тебе подлинную христианскую любовь и тебя наставить...

Это говорит о многом. Это говорит, во-первых, что мы друг за друга *ответственны*. Если кто-нибудь впадает в то или другое согрешение (и это слово апостольское — Гал. 6: 1), то мы, верные, должны ему помочь, обратить его внимание на его ошибку и не клеймить, но стараться передать ему *истину*. А передавать истину большей частью приходится не путем спора, а путем явления чего-то высшего. Я помню одного миссионера, иподиакона патриарха Тихона, который в России проповедовал в начале революции; он говорил: когда споришь с неверующим, не говори *против* него, потому что он захочет себя защитить и будет всеми силами тебе перечить и закрываться от той истины, которую ты провозглашаешь. Говори *выше* его, чтобы высота и красота того, что ты говоришь, его пленила и чтобы он к ней устремился... С другой стороны, рассказ Иоанна Мосха нам говорит о том, что чистота сердца может сосуществовать с какой-то запутанностью ума, и поэтому мы не можем легко отбрасывать, осуждать человека: надо с большой бережностью относиться к инакомыслящим.

Второй рассказ: человек, крестившись, через какое-то время обнаружил, что крестивший его священник был еретиком. Он обратился к православному епископу с вопросом: действительно ли его крещение или он только им был осквернен? Епископ вызвал крестившего его священника и спросил крещенного: этот ли человек тебя крестил? И тот ответил: Нет! Меня крестил светозарный муж в белоснежной одежде, а этого человека, пока меня крестили, я видел: его в стороне от меня держали два мрачных существа... (Я сейчас не стою за историчность этих рассказов, я стою за то, что они выражают церковную мысль по этому вопросу).

Я хотел бы прибавить еще одно. Владыка Антоний Храповицкий, бывший митрополит Киевский и учредитель в свое время Синодальной Зарубежной церкви, был одним из самых радикальных и узких богословов Русской Церкви. Я помню статью, где он говорил, что ни католиков, ни протестантов нельзя считать христианами. Но в другой статье он говорил о том, каким образом из столетия в столетие менялось отношение Церкви к отколовшимся от нее обществам. Он отмечает факт, что Церковь относилась с уменьшающейся строгостью к отпадающим от нее еретикам, и ставит вопрос: как это объяснить? Неужели в Церкви притупилось чувство истины и потому Церковь относилась более безразлично к тем, которые проповедовали неистину, ложь? или можно это объяснить иначе?.. И его объяснение мне кажется очень важным для нас. Он говорит, что первые ереси отрицали самые основы христианской веры. Те, кто отрицал Божество Иисуса Христа, кто отрицал Его человечество — просто отрицали самую сущность Воплощения и, значит, христианской веры. Но по мере того, как проходило время, отпадение от истины совершалось по причинам важным, значительным, но, однако, не лишаящим отпадших веры во Христа как Сына Божия воплощенного. И по мере того, как проходили столетия, последующие ереси уносили с собой все большее и большее количество православной веры. Так что Церковь, которая осуждала самым суровым образом ранних еретиков, впоследствии стала применять менее суровые меры к еретикам позднейших столетий, потому что они сохранили больше истины и православной веры.

В следующей беседе я хочу приступить к вопросу о том, как рассматривать разделенность церковную как таковую и где границы Церкви; можно ли говорить о

разделенности или, как в свое время говорил один из самых больших, крупных русских архиереев, митрополит Литовский и Виленский Елевферий, в Церкви не может быть деления: можно только отпасть от Церкви и перестать ей принадлежать вовсе. Вот этот вопрос я хочу затронуть в следующий раз и развить эту тему в нескольких направлениях.

Я у вас прошу прощения: я говорил больше, чем надеялся. Теперь у нас есть немножко времени на вопросы, и я буду очень рад, если вы будете вопросы ставить не только мне, но и Владыке Анатолию, который преподавал Новый Завет в Троицкой Академии и гораздо больше меня знает все эти темы.

Мой вопрос Владыке Анатолию: какова ситуация сейчас в отношениях с Синодальной церковью в России?

Епископ Анатолий: Я могу ответить только, как это воспринимается нашими верующими и иерархией Русской Православной Церкви в последнее время. Если говорить в общем, то в год тысячелетия казалось, что эти отношения должны улучшиться и должен открыться какой-то путь к возможному взаимопониманию и даже примирению, наконец должны отойти в прошлое те предрассудки, которые существовали, и предвзятые мнения в отношении отдельных моментов истории нашей патриаршей Русской Православной Церкви. Мы так думали, и Владыка Антоний прекрасно знает эту ситуацию, и он какие-то шаги предпринимал даже лично в формулировке соборных посланий, в которых мы касались этих отношений. То есть позиция Русской Православной Церкви была выражена доброжелательно и очень осторожно и целенаправленно в сторону примирения, поиска путей, чтобы восстановить какие-то контакты и найти разрешение различных вопросов, которые существуют и остаются на сегодняшний день. К сожалению, как показывает обстановка и события, на сегодняшний день отношения между нашими Церквями натянутые. И здесь проявляется какая-то, может быть, нездоровая тенденция, я бы сказал, не всей Зарубежной церкви, а каких-то радикально настроенных иерархов, духовенства и верующих, которые не хотят такого примирения, не хотят контакта. Это сейчас создает очень большие сложности. Результатом таких отношений явились приходы, которые вошли в юрисдикцию Зарубежной церкви на территории нашей страны, России. Эти новые приходы, перешедшие в Зарубежную церковь, вызвали понятную реакцию Синода нашей Церкви, архиереев, верующих, которые возмущены таким отношением. Тут есть разные причины; виноваты существовавшие беспорядки, характерные для той системы, которая сейчас уже меняется в нашей стране, но остается еще в какой-то мере действенной силой в своей традиции. Поэтому сейчас сложилась такая натянутая, напряженная обстановка, и последнее послание нашего Поместного собора как раз отражало озабоченность Русской Православной Церкви таким отношением к образованию приходов, которые вносят раскол в жизнь нашей Церкви на территории нашей страны. Каково будущее — мне трудно сказать. Здесь различные причины. Я думаю, здесь Владыка Антоний больше и глубже меня знает ситуацию, потому что я, отвечая на этот вопрос, ограничен рамками того восприятия этих событий, какое существует у наших верующих в Советском Союзе. Я не знаю многих причин, я не знаю, может быть, многих отношений, которые знает Владыка Антоний, и мне трудно что-то большее сказать.

Митрополит Антоний: Можно, я скажу и от себя. Во-первых, я должен сказать, что отношения переменялись колоссально; те отношения, которые между нами существуют теперь, нельзя сравнить с тем, что было в ранние годы. Я помню раскол в Париже в конце двадцатых — в тридцатые годы: тогда было просто радикальное отрицание друг друга. Скажем, в патриарший храм ни один синодал не пошел бы ни на похороны, ни на венчание, ни на какое событие; благословение ни от какого нашего священника не принял бы. То же самое и в обратном направлении: виделась глубокая измена по отношению к Русской Церкви со стороны всех тех, которые от нее отделились. Когда Церковь-мать находится в плену, даже если она поступает в этом плену так, как мы не хотели бы, мы можем оплакивать это, жалеть ее — и продолжать любить ее и

оставаться верными ей. Употребляя формулировку очень грубую, но очень яркую одного из наших епископов, настоятеля Трехсвятительского подворья в Париже, Владыки Вениамина: он сказал на каком-то собрании, когда его на рога подняли: “Если бы моя мать стала проституткой, я от нее не отказался бы; моя Церковь не стала проституткой”.

Много лет спустя, году в 1949 – 1950, я оказался здесь священником и познакомился со священником Зарубежной церкви, который теперь ее глава, митрополит Виталий. Он был настоятелем того прихода, я этого; мы тогда делили один храм. После каждой моей службы он его освящал по чину освящения храма, оскверненного еретиками. Я решил с ним знакомиться и отправился к нему. (Должен сказать, я начал ужасно неудачно. Я пришел поздно вечером, было темно, открыла какая-то фигура; молодое лицо без бороды, с длинными волосами. Я говорю: “Матушка, можно мне повидать отца Виталия?” — И низкий бас мне отвечает: “Я не матушка, а дьякон такой-то”... Это было не совсем удачное начало). Я решил: он меня, вероятно, встретит плохо, но я ему не дам меня встретить до конца плохо, и когда он вошел в комнату, где я находился, я ему сразу сказал: “Отец Виталий, *Христос посреди нас!*” — и ему ничего не оставалось, как ответить: “*И есть и будет*”. И с этого началось. Потом мы с ним встречались раз в месяц приблизительно, и когда мы немножко сблизились, я его спросил: “Отец Виталий, что вы обо мне думаете?” Он говорит: “Знаете, вы человек честный, поэтому я вам прямо отвечу. Если бы я хотел быть вежливым, я бы сказал: вы просто не священник, но я вам правду скажу: вы — священник сатаны...” Таково его тогдашнее отношение было. Понимаете, это все-таки не легко принять. У меня шкура толстая, я продолжал общаться с отцом Виталием, злобы на него у меня не было, но принципиально я не мог принять такого мнения. Я знаю, что я плохой человек, я знаю, что я недостойный священник и все прочее, но я не могу согласиться, что я священник сатаны, потому что не могу принять, что сорок два года я проповедую *не* Евангелие; я не могу признать, что моя проповедь, мои лекции являются антихристовым словом, что я строил бесовское капище.

В хрущевское время Димитрий Поспеловский, профессор из Канады, говорил тому же отцу Виталию, как ужасно, что в России закрываются храмы, и тот ответил: “Пусть все закроют! Разве вы не понимаете, что это капища сатанинские?” Вот то отношение, которое в основе было. Среди них есть люди достойные, люди, которые иначе мыслят, люди, которые к нам иначе относятся; но и такое отношение все-таки продолжает жить в этой среде в лице целого ряда архиереев. Их можно уважать за стойкость убеждений, за то, что они готовы поплатиться за них... Впрочем, не всегда. Один из теперешних их архиереев был настоятелем храма в Берлине. Я его встретил здесь в Лондоне, он меня пригласил, и мы с ним довольно резко поговорили. Это было после разговора с отцом Виталием, и я уже знал, что они обо мне думают. Он мне сказал, что всякий священник, мирянин или епископ, согласившийся жить под советской властью и не ставший мучеником, — изменник Христа. Я ему тогда ответил: “Владыко... (его называть не стоит), когда советские войска вошли в Берлин — почему вы не остались и не умерли мучеником?” И он мне ответил на это: “Я помолился и почувствовал, что Бог меня к мученичеству не призывает”. Это меня глубоко возмутило; я ему тогда возразил: “Поймите, вам хорошо, вы были на границе. А были бы вы в Туле или за Уралом — что бы вы могли сделать?” — “Господь мне не велел там быть...” Вот такой подход мне неприемлем, меня переворачивает.

Теперь они ставят условия для воссоединения или для сближения. Первое — чтобы Русская Церковь отреклась от митрополита (будущего патриарха) Сергия, в частности, от его декларации 1927 года. Второе: чтобы были канонизованы все новомученики; и третье — чтобы Русская Церковь отказалась от всех форм экуменизма, то есть от общения с инославными, с неправославными; зарубежники сейчас перекрещивают и католиков и протестантов. Я не могу очень широко развивать эту тему, но что касается послания митрополита Сергия, я его читал в свое время, читал в недрах русской эмиграции, которая тогда была очень убежденно и пламенно антисоветская. И с самого начала противники

Русской Церкви переиначивали, перевирали этот текст, в частности, одно место; это делается и теперь, в их последнем послании, и в писаниях Зои Крахмальниковой, и во всей литературе, относящейся к нашей Церкви. Патриарх Сергей говорит: радости нашей Родины — наши радости, горести нашей Родины — наши горести... Каждый раз зарубежниками это цитируется как “радыи нашего правительства...” Это клевета и это ложь! Это очень легко обнаружить, просто прочитав послание; оно у меня есть. А на этих словах и еще на нескольких цитатах строится утверждение, будто патриарх Сергей “изменил Русской Церкви”. В результате в последнем послании синодалов и в других местах теперь говорится, что Зарубежная церковь не в расколе с Русской Церковью, что вся “сергианская” Церковь является раскольническим обществом, а единственная Русская Церковь — Зарубежная... Опять-таки, отец Виталий мне говорил: “Мы — Церковь мучеников”. И я ему ответил: “Да, отец Виталий, вы замечательно разделили обязанности: они льют кровь, а вы галдите!”

Я сейчас — простите! — говорю резко, потому что мне больно; я был юношей, когда все это случилось, и с семнадцати лет я это переживаю, помню это как-то кровно, мучительно помню, и иначе не могу: я не жалею и не стыжусь выбора, который я сделал в семнадцать лет.

На Соборах я дважды выступал в пользу Зарубежной церкви. На Соборе, когда выбирали патриарха Пимена, был поднят вопрос о запрещении их иерархов. Я тогда выступил и сказал, что следует понимать, почему часть русской эмиграции оторвалась от Русской Церкви: это произошло от мучительной боли, от страдания, от отрицания того, что происходило и сейчас еще происходит в России. И никто не имеет права судить людей, которые из такой трагедии, в ее пределах, из-за этой трагедии приняли решение, которое, может быть, неверно, но за которое они готовы стоять жизнью и смертью. Тогда они не были запрещены. В этот раз я выступал снова. Я помню почти дословно, что я говорил. Я повторил то, что сказал в первый раз, и говорил, что мы должны с благоговейной благодарностью относиться к тому, что Зарубежная церковь сохранила чистоту православия, стояла на страже нашего богослужебного строя, сохранила каноническое устройство, создала храмы, монастыри, печатает книги, которыми и мы пользуемся, потому что они поступали в Россию и тогда, когда там нельзя было достать книг; и что несмотря на всю клевету, на все зло, излитое на Русскую Церковь, мы должны ответить Зарубежной церкви, как апостол Павел говорил коринфянам: наши сердца вам открыты, закрыты *ваши* сердца (см. 2 Кор. 6: 12), и предложить им вступить с нами в общение таинств, не прося их войти в состав Русской Церкви, дать им оставаться независимой единицей и не ожидать от них перемены их политического состояния, допуская их абсолютную, радикальную антисоветскую позицию. Говорить о монархической позиции не приходится, потому что и в нашей среде были монархисты, и в их среде были не-монархисты. Я монархист, монархистом был В. Н. Лосский и целый ряд других людей, так что водораздел совсем не по этой линии идет.

В данное время я считаю *трагедией* заявление Зарубежной церкви, будто Патриаршая Церковь на территории Советской России перестала иметь право называться Русской Церковью, что “зарубежники” являются Русской Церковью и готовы принять всех, кто отречется от патриархии и войдет в их состав. Это не попытка помочь, а попытка создать алтарь против алтаря. Причем, конечно, пойдут и достойные люди, но будут и недостойные, такие, которые пойдут, потому что у них трудности с местным епископом, с приходом или еще с кем-то, — они будут искать себе выхода. Это неминуемо, это человеческая тенденция, ничего с этим не поделаешь. Но, думаю, принимать оптом какой-нибудь приход, не зная людей, встретив их лишь раз, очень рискованно.

Простите, я, может быть, слишком резко говорил, но я до сих пор это так переживаю и не могу иначе.

А что Истинно-православная церковь, которая патриарха Сергия не признала? тогда как быть с ней?

С ней зарубежники пока тоже не воссоединились. Я не знаю, что сейчас происходит, я получаю сведения косвенно и иногда с запозданием. Насколько я знаю, так называемая “Катакомбная церковь” не влилась в их движение, она остается обособленной, а многие ее приходы просто вернулись в Патриаршую Церковь.

Я думаю, что такая связь между видимым и невидимым всегда была. Я знаю, что члены Катакомбной церкви ходили на исповедь и на причастие к некоторым священникам Патриаршей Церкви, — не ко всякому. Я помню, что целая группа из Катакомбной церкви в лице одного священника обратилась ко мне с просьбой: не могут ли они меня поминать как своего епископа — принимая в учет, что я патриарший, но для них “приемлемый”. Я помню, что когда меня должны были назначить экзархом, Владыка Афанасий, живший в Петушках, ко мне обратился с просьбой не отказываться. Так что вопрос гораздо сложнее и богаче. Это не просто расслоение: “они” и “мы”, это был вопрос о тех или других людях, приемлемых и неприемлемых.

Все-таки, как себя вести тем, которые входят в их состав? потому что сейчас действительно бегут, как с тонущего корабля...

Они не знают, что делают! Сейчас, например, говорят, что Русская Церковь подхалимствовала советской власти и т.д., и т.п. У меня есть — я принес бы, если бы подумал об этих вопросах — текст письма митрополита Анастасия, главы Зарубежной церкви после митрополита Антония Храповицкого, Гитлеру, где митрополит Анастасий его благодарит за все, что тот делает для Русской Церкви, и называет его богоданным вождем народов для освобождения России. Так если бросить на весы то, как вели себя наши иерархи, наши священники, наши верующие *под гнетом*, который был в Советской России, и то, что этот человек посмел сказать, будучи совершенно свободным (он даже не в Германии жил, он жил тогда в Югославии) — *как он смел* сказать такую вещь? И после этого кичиться тем, что “мы — свободная Русская Церковь, а те — изменники”... Зарубежная церковь приветствовала наступление немецких войск на Россию. В Париже в течение всей войны зарубежный приход служил молебны о победе немецких войск. Так знаете, после этого “чья бы корова мычала, а твоя молчала”! И мне действительно страшно думать, что приезжающие из России идут в Зарубежную церковь, потому что у них какие-то сомнения по отношению к своему духовенству в России, а про зарубежных думают: “эти люди свободны, эти люди никогда не сдавались, никогда не изменяли своей царственной религиозной свободе...”

Большинство прихожан уже не понимает разницы...

Видите, сейчас прошло столько времени, что большинство людей не знает ни с чего началось, ни что было, а каждый совсем естественно остается там, где он был и есть. Этих людей я не осуждаю. Но, скажем, когда митрополит Виталий, который все знает (он старше меня, ему восемьдесят с лишним лет, поэтому он все помнит и знает), может такую вещь сказать, это ранит меня. Правда, он последнее время говорит, что и среди русского епископата и духовенства есть достойные люди... Спасибо ему и за это, раньше он так не сказал бы. Но тут громадная работа должна быть сделана, чтобы люди могли поверить. И, конечно, есть, если хотите, вина и за нашей Патриархией. Конечно, везде есть люди и хорошие и плохие, и достойные и недостойные. Но я должен сказать, что надо с осторожностью относиться к тому, какими глазами вы смотрите, какими ушами вы слышите.

И украинцы, Владыко, тоже служили такие молебны, и с немцами сотрудничали...

Это дело другое, это национальное движение; они хоть от имени Церкви не действовали, тогда как здесь *Церковь* действовала.

Во время войны папа Римский тоже благословлял Гитлера!

Я понимаю, но это не наше дело; а когда зарубежники попрекают Русскую Церковь в том, что не все верующие, не все священники, не все епископы умерли мучениками,

пишут об этом из Америки и из Западной Европы, мне делается *больно* — и стыдно. Вот что я могу сказать.

Я полностью разделяю вашу точку зрения насчет Сергия, но, может быть, в те годы еще не было ясно, что такое Гитлер?

Я так не думаю, потому что уже с 1933 года, когда Гитлер начал свою деятельность, в Германии начались зверства, избиения, убийства, “ночь длинных ножей” уже того периода; начались гонения на евреев, началось совершенное уничтожение всех левых политических партий, так что все пострадали, кто не соглашался с ним. Владыка Константин (он теперь в Америке) был тогда настоятелем в Берлине. Он был под митрополитом Евлогием, даже не патриарший. Его вызвали в министерство и поставили условие: или переходите в Синодальную, Зарубежную церковь, которую мы признаем, или вас вышлют отсюда... И он перешел.

Декларация о “радости” ведь тоже была выпущена, когда было много всего явно страшного внутри своей страны, гораздо страшнее, чем “ночь длинных ножей”. Противопоставлять одно другому нельзя, это два каких-то страшных заблуждения, две ошибки. Вы никогда не писали об этом?

Я вообще не пишу. Я думаю, что тут во многом виноваты обе стороны. Есть русская поговорка: неправ медведь, что корову съел, неправ и та, что в лес зашла... И, конечно, было очень много соблазнов всякого рода, тут никакого сомнения нет. Существуют, скажем, письма, которые писались из России за подписью митрополита Сергия, которые были бы мне неприемлемы. Но я знаю на опыте одного письма из России: один очень мною уважаемый священник поместил письмо совершенно возмутительного содержания в зарубежной газете; когда я его встретил, я ему поставил это на вид. И оказалось, что он его и не писал, и не видал. Поэтому очень трудно судить о том, что выходило из России за подписью, скажем, митрополита Сергия или других. Были поступки, которые очень нас коробили, но которые мы просто покрывали состраданием, больше чем уважением.

А бывает, люди поступают неправо в надежде, что это кого-то спасет. Можно, я вам расскажу еще одно?

Епископ Анатолий: То, что вы говорите, очень важно, потому что вы живой свидетель, — мы это знаем только из уст уже отдаленных.

Митрополит Антоний: Я вам дам несколько примеров. Вскоре после того, как я епископом стал, приезжал в Голландию Владыка Николай Крутицкий. О Николае Крутицком я знал только то, что печаталось и говорилось, то есть речи, проповеди, какие-нибудь документы, и у меня было самое тяжелое впечатление о нем. Я приехал в Голландию. В Гааге было богослужение, я принимал в нем участие, и скажу сначала о богослужении. Церковь — малюсенькая, алтарь такой, что между престолом и вратами можно одному человеку стоять, вокруг несколько человек, и пройти никуда нельзя было. Там стоял Владыка Николай Крутицкий, митрополит Николай из Парижа, я, настоятель гаагского прихода и пара священников. В самом храме было что-то очень страшное, по моему. Туда пришла горсточка наших прихожан, а кроме них — все, кто хотел следить за Николаем Крутицким: не скажет ли он, не сделает ли он что-нибудь, в ответ на что можно будет объявить: он советский шпион, он агент... И атмосфера была просто жуткая. Знаете: Владыка Николай стоял, молился и служил, как будто он один перед Богом, а в храме была такая чересполосица различных чувств, переживаний, что мне представилось: это Голгофа. Распятый Христос, рядом с Ним Божия Мать и один ученик, на каком-то отдалении несколько женщин, которые не могли подойти, но остались сердцем и всем существом верны; а вокруг толпа. В ней — первосвященники, которые над Ним смеялись, воины, которые прибили Его ко кресту и разделяли Его одежду между собой: они ремесленники, им дела не было до того, кто умирает; народ, среди которого одни пришли посмотреть, как умирает человек (это бывает везде; когда во Франции еще работала

гильотина, люди ходили в пять часов утра смотреть, как обезглавливают человека). Были там люди, которые думали, а вдруг Он сойдет с креста, и я смогу стать верующим без риска: Он победитель, я за победителем пойду!.. Были такие, которые, наверное, думали: только бы Он не сошел с креста, потому что если это произойдет, я *должен* подчиниться этому страшному Евангелию жертвенной любви, крестной любви!.. И просто народ, пришедший посмотреть, продавцы лимонада, прочий базар... И вот такое чувство у меня было в этом храме: что в сердцевине один человек стоит только с Богом. Я не стоял так, потому что я переживал и его и окружение, — я знал это окружение. А он стоял и молился. Когда я выходил, одна голландка (Анс Ватерройс, я даже помню ее) сказала: “*Что* это за человек? вокруг него буря, а он стоит, как утес”. В конце службы он сказал проповедь, и к одной фразе прицепились все враги: “С этого священного места я лгать не стану...” И что пронесли? — “с любого другого места он нам будет лгать...” Они восприняли это не так, что каждое слово он говорил перед лицом Божиим и не мог соврать, а так, будто в другом месте он солжет.

Назавтра я ему служил переводчиком целый день. К концу дня мы оба устали, и когда последний человек ушел, он встал: “Ну, Владыко, до свидания”. Я ему говорю: “Нет, Владыко, я приехал в Голландию не ради того, чтобы вам служить переводчиком, я приехал для того, чтобы с вами поговорить”. — “Я слишком устал”. — “Вы *должны* мне дать четверть часа времени”. — “Почему?” — “Потому что все, что я знаю о вас, наводит меня на мысль, что я вас уважать не могу, что вы предатель; я хочу убедиться, прав я или неправ”. И он мне сказал: “Ах, если так, давайте говорить!” И мы сидели и разговаривали; и я помню последнюю его фразу: “И поэтому, Владыко, не судите нас более строго, нежели мы вас судим”. А то, что он мне до этого сказал, перевернуло меня. Я его стал любить и уважать, чего раньше не делал. (В первый год, что я был священником здесь, он должен был приехать на профсоюзный съезд в Шеффилд, и я ему послал телеграмму в Москву: “Ввиду того, что вы приезжаете на политический съезд, я вас прошу в храм не приходить, потому что я вас не допущу”... Я был тогда щенком, но он мне телеграммой ответил: “Одобряю и благословляю”. Вот какого размера был человек).

О нем говорили Бог знает что. А он мне рассказал, как его Владыка Сергей попросил стать посредником между ним и Сталиным. Он отказывался: “Я не могу!..” — “Вы единственный, кто это может сделать, вы *должны*”. Он мне говорил: “Я три дня лежал перед иконами и кричал: Спаси меня, Господи! избави меня!..” После трех дней встал и дал свое согласие. После этого ни один человек не прошел через его порог, потому что верующие перестали верить, что он свой, а коммунисты знали, что он не свой. Его встречали только в служебной обстановке. Ни один человек ему руки не подал, — в широком смысле слова. Вот такая жизнь. Это мученичество такое же, как быть расстрелянным. А потом, когда он восстал и стал говорить проповеди, где обличал безбожие, ему запретили говорить проповеди, его закрыли от верующих. Умирая, он мне оставил записку: “Я всю жизнь хотел служить Церкви, и меня все оставили. За что, за что?” Это письмо у меня есть. Вот один человек, один пример.

Второй пример совсем другого рода. Когда мы ездили на съезды Всемирного Совета Церквей, переводчиков почти не бывало, и я почти все время служил переводчиком Владыке Никодиму. Вы знаете, что говорили о Никодиме: что он сомнительный, такой-сякой-эдакий... Однажды он меня зовет: “Вот, с меня требуют интервью; я письменно ответил на вопросы. Прочти и скажи, что ты об этом думаешь”. Я прочел, и в одном из ответов было четыре противоречия в трех строчках. Я ему говорю: “Скажут — дурь”. — “Это совершенно ясно, очевидно?” — “Да, совершенно очевидное идиотство”. — “Отлично! Все же понимают, что я не дурак, значит, поймут, что это неправда...” Мы этого не понимаем, потому что никогда не жили в таких условиях, кроме тех из нас, кто был под немецкой оккупацией или под советской оккупацией, но ни один англичанин не поймет, они не знают, что это такое.

Другой пример: одного русского епископа, который теперь очень высоко стоит, тогда он был совсем молодым человеком. На одном съезде обсуждался вопрос о телевидении, радио, прессе, и докладчик говорил, что все эти средства массовой информации — средства пропаганды в руках меньшинства, которыми оно разрушает большинство. Этот епископ встал и сказал: “Не понимаю вашего разговора! Это, может быть, верно в ваших капиталистических странах, но у нас, в социалистическом мире, радио и телевидение выражают убеждения народа”. И вся зала, какие-нибудь человек шестьсот, расхохотались. Он сел. Я повернулся к нему, говорю: “Зачем ты эту глупость сказал?” Он ответил: “Ты не понимаешь? В этом зале наверное есть какой-нибудь шпион, который доложит, что я единственный встал в защиту нашего строя, а сказал я это так, что это даже не обсуждали, а смехом сняли вопрос”... Мы этого тоже не понимаем. Мы в этой обстановке не были, ее не знаем, и судить об этих людях, как то делают некоторые — нет, нельзя. И не потому, что я их лично знаю, и уважаю, и люблю как людей, — нельзя объективно.

Вот, Владыко, я вас перебил...

Епископ Анатолий: Нет, Владыко, наоборот, вы очень важное сейчас сказали, тем более мне очень ценно и важно ваше мнение о митрополите Николае, потому что я с ним был как-то духовно близок. Я присутствовал, когда он служил свою последнюю службу в Троице-Сергиевой лавре, куда его привезли тоже тайно, никто не был оповещен. Это все было в период его опалы, и он очень сильно это переживал. Он даже не имел возможности встречаться с патриархом, никто его не посещал, то есть возможность общения с ним была полностью отрезана для всех, даже тех, кто его близко знал и любил. Об этой службе я могу только передать впечатление внешнее и внутреннее. Трапезный храм был переполнен, и он стоял и рыдал; знаете, он стоял, молился, он чувствовал, что это его последнее богослужение на этой земле. У меня даже сохранилась фотография, его кто-то сфотографировал за этим богослужением. Во время евхаристического канона особенно по его лицу просто текли слезы, он не мог спокойно говорить. Когда он произносил: “Примите, ядите...”, это были слова-рыдания; он чувствовал: вот уже встреча с вечностью, перед которой он стоит.

Беседа третья

Продолжая разговор о Церкви единой и, однако, видимо разделенной, я хочу вам напомнить место из Евангелия от Марка (его повторяет и Лука). Ученики Христа, посланные на проповедь, вернулись к Нему и, рассказывая о том, что с ними было, упомянули, что встретили человека, который с ними не ходит, не состоит в окружении Спасителя Христа, но верует в Него и творит чудеса Его именем. И они запретили ему, потому что “он не ходит за нами”. Христос им ответил: Не запрещайте никому. *Никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня* (Мк. 9: 39). Я думаю, что это очень важное место, которое редко упоминается; многие, вероятно, просто не замечают его и не применяют к современной нам жизни. А говорит это место вот о чем: да, есть Спаситель Христос как абсолютный центр, есть Его ученики и апостолы, есть дальше целый круг их учеников и последователей; но есть и такие люди, которые услышали зов Христа, приняли в сердце и в ум Его учение, которые служат Ему, но по какой-либо причине не присоединились к этому кругу Христову. Мне кажется, что это очень важно помнить, потому что мы легко считаем, что все те, кто не с нами, не имеют отношения и к Тому, Кто является нашим Богом, нашим Спасителем, нашим Наставником. А вместе с тем видно, что это не так.

Размышляя над этим, в свое время, уже много лет тому назад, Лев Александрович Зандер в книжке, которая вышла на английском языке и не переиздавалась, говорил о том, как он себе представляет христианское разъединение. Он давал такую картину. Когда два человека поссорятся, они друг от друга радикально отворачиваются и стоят как бы спина к спине. Они еще могут физически почти что себя ощущать, их лопатки соприкасаются,

но они бесконечно далеки друг от друга, потому что смотрят в два совершенно противоположные направления, взор одного не может встретить взор другого, они смотрят в иную бесконечность. И поэтому они постепенно друг от друга удаляются; они с самого начала стали всеконечно чуждыми, и их пути ведут их вдаль. Это первая стадия; ее мы видим в истории Церкви, в истории политических организаций и даже в истории отдельных людей: момент решительной ссоры, решительного расхождения, когда уже нечего друг другу говорить, остается только разойтись.

А затем человек или группа людей, вероисповедание идет куда-то, куда глаза глядят, однако память о том, с кем произошла ссора, не умирает. Человек, оставивший другого, отрекшийся от него, не может от него до конца “отделаться”; ссора разъединяет людей, и однако люди остаются каким-то образом, может быть, даже из-за этой ссоры, друг за друга ответственными, связанными в один узел. И вот приходит момент, когда, отошедши достаточно далеко, чтобы уже не чувствовать в той же мере гнев, обиду, не переживать в той же мере разногласие, негодование о нем, обе стороны поворачивают голову или просто оборачиваются — посмотреть, что же случилось с тем, который был не только моим другом, кто был единым со мной и стал настолько мне чужд, что мы разошлись и ушли друг от друга, как казалось, бесповоротно. И что же видит человек? Лев Александрович говорит, что, глядя вдаль, он видит только силуэт, какую-то форму, но различить черты лица, узнать своего бывшего друга или теперешнего недруга не может. И тогда начинает подниматься в нем вопрос о их разрыве. Гнев спал, ненависть вымерла; разногласия, конечно, еще существуют, но благодаря тому, что умерла ненависть, гнев спал — начинает вспоминаться не только то недоброе, что привело к расхождению, но и то светлое, что было между этими двумя людьми. Следующий шаг: поставив себе этот вопрос, группа людей или два человека начинают друг во друга всматриваться издали и, чтобы лучше увидеть, начинают друг ко другу приближаться. Они хотят посмотреть: что же случилось с тем, который был моим братом, моей сестрой — и стал моим врагом. И это движение друг ко другу заставляет людей пересмотреть всю ссору, потому что в каждой ссоре есть как бы две составные части. Есть одна основная причина разногласия, которая не может быть снята просто доброй волей, и другая — чисто человеческая: взаимное непонимание, различие культур, языка, и даже просто разница во вкусах и в мечтах. И вот два человека, которые разошлись так радикально, движимые или любопытством, или желанием снова посмотреть на того, кто был другом, начинают сближаться, и по мере того, как они сближаются, черты другого обозначаются все яснее. Оба начинают видеть, что у того, кто ими был брошен, кого они оттолкнули, от кого они отреклись, кого они порой проклинали, остаются человеческие черты, он не стал уродом, он не стал чем-то страшным, чудовищем, он человек. Если взглядеться более внимательно, можно даже видеть в нем благородство, правду, достоинство, свет. И тут встает вопрос: нельзя ли нам найти общий язык, чтобы снова заговорить?..

Это не всегда просто, потому что за столетия язык веры, язык убеждений, язык внутренней жизни порой развивается в очень разные направления. Часто бывает, что одни и те же слова покрывают совершенно иные понятия; или наоборот: слова стали совершенно иные, а вера, понятия остались неизменными. И тут начинается разговор, то, что сейчас называется *диалогом*, разговор между двумя разошедшимися людьми или группировками людей. В этом весь смысл того, что происходит сейчас в христианском мире между разошедшимися вероисповеданиями. Диалог вовсе не означает принятия друг друга в элементах веры, в том, из-за чего люди разошлись; но есть нечто, что сродняет всех. Я упоминал в прошлый раз, что в свое время писал Владыка Антоний Храповицкий: что ранние ереси отрекались от самых основных истин христианской веры, отрицали Божество Господа Иисуса Христа, отвергали подлинность, реальность Его человечества. Но последующие ереси, уходя от православия, уносили с собой все бо'льшую долю православной веры. И поэтому Церковь, которая очень резко и строго осуждала ранних еретиков, стала судить поздних отщепенцев с гораздо большей мягкостью. Это не значит,

что расхождения считались неважными, но это означает, что как бы они ни были важны, придерживающиеся разных мнений не перестают быть христианами, и это — основание, делающее возможной ту взаимную встречу, диалог, который сейчас уже много лет происходит между разошедшимися христианскими вероисповеданиями. Было время, когда друг с другом не разговаривали, друг друга не принимали ни в какой мере, а теперь, как бы резки ни были расхождения, насколько определенно мы не могли бы принять то или другое учение или установку другого вероисповедания, мы все-таки можем и имеем право, больше того: мы *обязаны* признавать, что эти люди — подлинно, искренне веруют во Христа.

Причем эта вера во Христа проверяется не только тем, что они исповедуют христианскую веру с достаточной ясностью, что они провозглашают Божию истину с большей или меньшей примесью неправды, а тем, что человек не может жить и умереть ради Христа, не будучи Христовым. Трудно себе представить, что тот или иной миссионер инославной церкви, католической, одной из протестантских или англиканской, который всю свою любовь отдал Христу, всю свою жизнь Ему посвятил, ушел в далекие края, чтобы других приобщить тому чуду радости и вдохновения, которые он получил от Евангелия, умер в этом подвиге, — трудно представить, чтобы такой человек мог бы быть отвергнут Христом. А если Христос не отвергает человека, то никто из нас не имеет права это сделать. Вот это очень важно нам помнить. Это не значит, что наш взаимный разговор, взаимное уважение снимает различия или делает допустимым то, что мы считаем неверным, но это значит, что нам надо очень глубоко вглядываться в веру другого человека, чтобы увидеть, что между нами есть общего. А общее — только Христос, не наше мнение, не наше воззрение, а то, что открыто нам Самим Богом в Евангелии, в учении Церкви. И на фоне этого света можно с гораздо большей ясностью различать то, что нас разделяет, но отводя предмету разделения свое место, то есть не считая его первостепенно важным. Апостол Иоанн в Евангелии говорит: *свет во тьме светит, и тьма не объяла его* (Ин. 1: 5). Греческое слово указывает, что тьма не могла потушить свет, хотя не могла и принять. И вот нам надо научиться видеть свет во тьме, а не только тьму, окружающую этот свет.

Этим объясняется то, что все православные Церкви за малым исключением пошли на встречу с инославными и стали вглядываться, вслушиваться, стараться понять: понять и причину расхождения и содержание расхождения, потому что порой расхождение происходило из чисто словесных причин. Я вам дам один пример, очень важный для своего времени. На ранних Соборах, когда говорили о Святой Троице, о Боге Едином и Троичном, употреблялось греческое слово, которое мы переводим как “Лицо”. Когда понадобилось перевести его на латинский язык, в словаре того времени оказалось единственное слово: *persona*. Но это слово на латинском языке обозначало маску, которую надевал актер, чтобы его издали могли признавать за то или другое лицо в играемой трагедии или комедии; то есть *persona* обозначало не настоящее лицо, а фальшивое лицо. Слово это происходит от двух латинских корней и значит “то, через что звучит голос”. Поэтому когда восточными Соборами было предложено понятие о Личности, о Лицах Святой Троицы и предложено было употреблять слово *persona*, реакция была самая резкая — и справедливо резкая: никто не мог понимать это слово в ином, чем общепринятом, значении, и в какой-то момент это чуть не раскололо Восток и Запад. Потом, когда начались обсуждения, стали друг друга понимать, стали придавать слову *persona* или *prosopon* то же самое значение, и тогда оказался возможным диалог.

Я помню первый раз, что Русская Церковь принимала участие в собрании Всемирного Совета Церквей. В Дели в 1961 году была небольшая русская делегация, в ее числе Владыка Иоанн Вендланд. Ему было поручено (поскольку он говорил на английском языке) сказать приветствие собранию, после того как Русская Церковь была принята во Всемирный Совет Церквей. Он встал, поблагодарил за доверие, которое другие Церкви оказали Русской Церкви, и сказал вещь, которая запала мне в сердце. Он сказал:

мы вам не приносим новое свидетельство, мы вам приносим свидетельство той Древней Церкви, которая является корнем и основой вашей собственной жизни. Мы являемся вашим прошлым, в котором мы все можем встретиться. Примите от нас это неповрежденное свидетельство и принесите из него те плоды веры, жизни и святости, которые мы, по нашей слабости, греховности и слепоте, не сумели принести... Эти слова произвели глубокое впечатление, и, по-моему, они выразили очень глубокую правду.

Действительно, Православная Церковь, будучи в своем бытии, в своем существе, в своем учении, в своей духовности продолжением Древней неразделенной Церкви, является через это единым прошлым всех Церквей, какие существуют сейчас в разделенном христианском мире. Поэтому нам гордиться нечем; нам просто было дано сохранить неповрежденным учение и основные духовные принципы апостольского времени. Но можем ли мы говорить, что мы живем достойно той веры, которую исповедуем?.. Я помню замечательное слово первого секретаря Всемирного Совета Церквей, Виссер 'т Хуфта, который сказал на каком-то собрании: мы все должны помнить, что можно быть еретиком не только тем, что проповедуешь ложное учение, а тем, что, проповедуя истинное учение, ты не живешь им.

И это так явно из нашей Божественной литургии. Перед исповеданием веры, перед чтением или пением Символа веры дьякон или священник обращается к народу и говорит: *Возлюбим друг друга, да единомыслием исповеваемы...* — и хор продолжает: *Отца и Сына и Святого Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную.* Это значит, что если мы не живем верой и любовью, если община, которая тут стоит и собирается произнести Символ веры, состоит из людей враждебных друг к другу, разделенных, не желающих друг друга знать, живущих не по закону Христову, призывающему нас любить Бога всем сердцем, всем умом, всем существом, любить и ближнего, как самих себя, то мы не имеем права провозглашать этот Символ веры иначе как в глубоком чувстве покаяния о том, что мы исповедуем правду на словах — и ей изменяем жизнью. Потому что Символ веры — это не философское учение о Боге, Символ веры — это проповедание Бога, Который так возлюбил мир, что Он его любовью создал, по любви к нему, ради его спасения отдал Единородного Своего Сына, и Который создал Церковь, как — повторяя слова Самарина — *организм любви*. Если мы таким организмом не являемся, то мы лжем, когда произносим Символ веры. По этой же линии можно было бы дать множество других примеров.

Вот как обстоит дело с Церковью — единой и одновременно видимо разделенной. Мы далеко отошли от того времени, когда мы друг друга просто отрицали. Я помню учебник богословия, изданный около ста лет тому назад, в 1893 году, в котором есть глава о том, как расценивать святость и чудеса в инославии, во всех церквях, не являющихся православными. Автор, русский православный епископ, говорит, что истинная вера и истинная жизнь только в Православной Церкви, и все чудеса, которые можно видеть вне ее — дело бесовского обмана... Этого никто из нас больше *никогда* не сумеет сказать. Вот почему нам надо серьезно относиться к нашему исповеданию веры; чтобы оно было неповрежденное, чистое, чтобы оно соответствовало во всем евангельскому слову Христа; и с другой стороны, надо жить согласно этому учению, иначе мы лжем, когда говорим, что мы верующие.

Вопрос встает, конечно: где грань, от чего можно отойти и от чего отойти нельзя. В течение истории Церкви и в вероучительном порядке, и в канонических установлениях, и в формах жизни, разумеется, происходил целый процесс, и мы не должны воображать, что Церковь всегда была неизменна. Уже апостол Павел говорил о разделенности между общинами, о спорах внутри общин и считал, что не надо смущаться разногласий: они необходимы, чтобы мудрейшие себя проявили и научили других чистоте и совершенству веры (последние слова мои, не его). Поэтому говорить о *неразделенной Церкви древности* нельзя, если под неразделенностью подразумевать, что у всех была одна мысль, одно сердце, одна воля. Нет, все гораздо сложнее. Истина, открытая нам во Христе Его

учением, Его жизнью, Его образом, Его примером, Его личностью, воспринималась в течение столетий с большей и большей глубиной, — а порой, увы, с меньшей глубиной.

То же самое относится к порядку, который был установлен в Церкви. Мы сейчас очень многое не приняли бы из того, что Древняя Церковь, Церковь первых столетий послеевангельского периода считала нормой. Я вам дам один пример. Святой Василий Великий указывает, что таинство брака в том виде, в каком оно преподавалось верующим свободным, то есть тем, которые не были рабами, нельзя применять к рабам, потому что (говорит он) если это таинство применить к рабу, то раб делается свободным человеком, он отпускается на волю... Разве мы могли бы теперь принимать такое представление о вещах? Разве мы могли бы сейчас делать различие между свободным человеком и рабом? — конечно, нет! Есть многие церковные установления различных столетий, которые мы сознательно не принимаем, потому что и Церковь в своем сознании, и общество в своем сознании их переросли, — не уходя от Евангелия, а наоборот, понимая Евангелие и применяя евангельское учение с новой и новой глубиной. Вот основа того, чтобы говорить о Церкви единой — и разделенной. Древние Соборы и более ранние собрания верующих определили сущность Церкви как место встречи, образ встречи, содержание встречи между Богом и тварным миром, миром, Богом сотворенным, но встреча эта происходит и явно и неявно. Она происходит порой настолько таинственно, что мы того и не замечаем. И вдруг мы обнаруживаем, что какая-нибудь группа людей сама выросла и как бы доросла до евангельского уровня.

В прошлый раз мы говорили о разъединении среди русских. Можно, быть может, бросить взгляд и на то, что нас разъединяет или соединяет с теми, которые не являются и христианами. Я думаю, что в основе можно положить такое понятие: Бога выдумать никто не может. В Бога можно верить или к Нему стремиться, Его искать, только если Бог коснулся нашей жизни и нашей души. Французский писатель Паскаль вспоминает, как он, размышляя о своем неверии, о своем искании, ставил перед собой вопрос о Боге и услышал голос Христа: “Ты бы Меня не искал, если бы ты Меня уже не нашел”. Поэтому мы должны с гораздо большей осторожностью, чем мы часто делаем, относиться к тем вероисповеданиям, которые вне христианской области, к людям, верующим совершенно по-иному. Я уже упоминал свой опыт с Владимиром Николаевичем Лосским относительно восточных религий. Думаю, нам надо с очень большой осторожностью относиться ко всякому верующему, больше того: даже за пределом конкретной сознательной веры мы должны относиться с очень большой осторожностью ко всякому человеку. Что бы, кто бы он ни был, каковы бы ни были его убеждения, какова бы ни была его вера или отсутствие веры, мы должны помнить, что образ Божий, раз запечатленный в нем, ничем не может сняться или быть смятым. Справедливо сказал один русский священник: когда Бог смотрит на человека, на всякого человека, через слои неправды, тьмы, запутанности Он видит в нем отражение Своего образа... Это очень важно нам помнить.

В этом отношении, может быть, особенно нам надо задуматься над распятием Господа Иисуса Христа. Есть в Его распятии несколько моментов, на которые я хочу обратить ваше внимание. Первое — то, что Христос был отвергнут людьми, потому что Он всецело, безоговорочно стоял как бы рядом с Богом, что ни на какой компромисс по отношению к Богу, к Его правде, к Его истине Христос не согласен пойти. И все те, которые не могли принять этого Бога, эту проповедь, от Него отреклись и Его засудили на смерть. Причем смерть Он должен был принять даже не в граде, среди людей, но вне града, отвергнутый до конца, как в древности в еврейском народе возлагались грехи Израиля на козла отпущения, который потом выгонялся погибать в пустыню. Христос был так же отвергнут еврейским народом, с тем, чтобы умереть вне града, как бы вне человечества, потому что Он от Бога ни в какой мере не отошел. Но, с другой стороны, Христос пришел в мир так соединиться с людьми, так быть с ними во всем единым, чтобы понести все условия их жизни, все условия падения человеческого.

И это сказалось в самых страшных словах, какие когда-либо были произнесены на земле. Когда Христос, умирая на кресте, в какой-то момент воскликнул: *Боже Мой, Боже Мой, зачем Ты Меня оставил?! —* конечно, Бог Его не оставлял, конечно, Христос не перестал быть Богом воплощенным в этот момент; но в Своем человечестве Он перестал переживать, ощущать Свое единство с Богом и Отцом. Для чего, почему? Потому что Он стал человеком для того, чтобы разделить с нами всю человеческую трагедию, а основная человеческая трагедия заключается в том, что мы потеряли Бога. Мы, каждый из нас, потеряли Бога в самой различной мере, и все человечество в разные моменты было ближе или дальше от Бога, но той близости, о которой говорится в начале книги Бытия, когда Адам и Ева общались с Богом, Его видели, *Им жили*, у нас нет. Богообщение до нас доходит только частично, в какой-то мере.

И вот для того, чтобы умереть человеческой смертью, не мнимой, а реальной смертью, Господь наш Иисус Христос, Бог, ставший человеком, должен был испытать основную трагедию человечества: потерю Бога, от которой только и можно умереть. Над этим задумывается, недоумевая, Церковь, когда в Великую пятницу поет: *О Свет невечерний, как Ты потухаешь? О Жизнь вечная, как Ты умираешь?..* Да, Свет не потух, Жизнь вечная не умерла, но Христос, Который был и Светом, пришедшим в мир, и Жизнью (*Аз есмь жизнь —* Ин. 11: 25), в Своем человечестве приобщился всему тому, что было человеческой трагедией, и умер. Умер, по выражению отца Софрония, как бы в *метафизическом обмороке*, когда в человечестве Своем Он перестал ощущать Свое единство с Богом и Отцом. Но если задуматься над этим, то явно, что в тот момент Он пережил потерю Бога, отсутствие Бога, если можно так выразиться — “обезбоженность”, так, как ни один человек, ни один самый убежденный безбожник не может этого пережить. Если думать о судьбах человечества, то можно представить, что нет безбожника, который так знает отсутствие Бога, как его пережил Христос в тот момент, что даже безбожник не остается как бы вне трагического опыта Христова. Христос объемлет все. Это, разумеется, не значит, что Он стал “безбожником”, но Он измерил глубину и ужас обезбоженности так, как *ни один* человек на земле *никогда* не пережил и не переживет. Он охватывает Собой все человеческое, ничего нет человеческого, что было бы Ему опытно чуждо; и хотя грех до конца Ему чужд, хотя Он ничем не приобщен ко греху, Он приобщен ко всем его последствиям.

И вот когда мы глядим на современный мир и думаем о православии, мы должны перед собой ставить вопрос о том, имеем ли мы право называть себя православными, или даже Христовыми, христианами, потому только, что мы исповедуем веру — если мы ею *не живем*. Конечно, мы можем веру провозглашать в той мере, в какой мы к ней устремлены. Несовершенство не делает нас чужими нашей вере, но мы должны строго относиться к нашему несовершенству и одновременно с большим вниманием вглядываться в другие вероисповедания и уметь видеть в них отблеск света Христова. Свет Христов *просвещает всякого человека, приходящего в мир* (Ин. 1: 9). На фоне этого света — с каким благоговением должны мы говорить о потерявших полноту света, о том, что им надо приобрести, от чего им надо отойти и отречься! И с каким вниманием, вдумчивостью, трепетом должны мы глядеть на тех, кто будто вовсе потерял этот свет! Свет в них таинственно пребывает как образ Божий, но они сами не могут доглядеться, дочувствоваться до него. И как мы должны осторожно произносить суждение о тех, которые *никогда* не встретили Христа, но кому открылся зачаточно Бог и кто верует в Него, говоря словами одной древней молитвы, *каким бы именем они Его ни называли*.

На этом я закончу беседы о Церкви единой и неразделенной, которые я сейчас сколько-то расширил и на нехристианский и на безбожный мир..

Есть ли у вас вопросы? или вернее — не хотите ли вы что-нибудь сказать на тему из своего опыта? В конце концов, я не “вещаю” правду, я только делюсь тем, до чего я дожил. Может быть, я того же не сказал бы десять лет тому назад и не скажу через пару лет, но вот до чего я пока дошел...

Владыко, у вас большой опыт общения с людьми, которые переходили из одной веры в другую. Каково этим людям? Кто-то был воспитан в одной вере, скажем, в иудействе, — может быть, случайно, по рождению, потому что семья верующая была, и потом переходит сознательно в христианство. Происходит ли какое-нибудь раздвоение? что испытывают эти люди?

Переходят в христианство или из одного вероисповедания в другое очень различно. Раздвоение бывает, только когда человеку позволяют уйти от своей прежней веры и присоединиться к новой еще не созревшим. Я, например, всегда отказываюсь принять в православную веру человека, который просто отрекается от своей прежней веры. Если ты родился в католичестве, в протестанстве, в англиканстве, в любом христианском вероисповедании, то ты Христа познал в нем и благодаря ему. Поэтому ты можешь перерасти вероучение данной Церкви, можешь увидеть ошибочность тех или других вероучительных установок, ты можешь найти, что духовность родившей тебя Церкви не полна и что в православии есть большая полнота, но ты должен войти в православие *благодаря тому*, что ты перерос свое прежнее состояние, а не отрекаясь от тех, которые тебя родили в вере. Вот принцип, которого я держусь. Иначе человек делается врагом своего прошлого; но ведь свое прошлое он непременно уносит с собой. Это прошлое должно, как цветок, раскрыться в православии, а не быть как бы оторванным, отрубленным.

Первые люди, приходившие к Православной Церкви, в мою бытность священником здесь, были люди наиболее культурные, которые перешли через очень многие искания и попытки; они приходили как бы в завершение жизни, в конце своего пути. У них были очень серьезные богословские основания переходить, уходить из римокатоличества или из других вероисповеданий. Другие были побуждены к формальному уходу из того вероисповедания, в котором они родились, по разным причинам. Например, многие были крещены в том или другом вероисповедании, но никак не были в нем воспитаны, принадлежат к таким семьям (они и у нас есть, к сожалению), где ребенка крестят — и все. Потом этот человек впервые придет в церковь на свое венчание, и напоследок будет принесен на свое погребение. Таких множество; и пришедши к нам в храм, многие просто открывали, что они могут стать верующими. Нечто закрытое, не имевшее для них никакого смысла в их прежнем вероисповедании, вдруг раскрылось, приобрело смысл.

Есть другие люди, которые приходили просто из без-божия, не специально воинствующего. Могу вам рассказать об одном человеке. Пришел однажды к нам в храм, лет двадцать пять тому назад, мужчина, принести какую-то посылку одной прихожанке. Он не был крещен, был убежденный безбожник, в том смысле, что не верил, что есть или может быть какой бы то ни было Бог. Он рассчитывал свой приход так, чтобы прийти к самому концу службы, дабы не терять времени в храме, но судьба — или Бог! — его привели сюда раньше конца всенощной. Ему пришлось сесть на скамейку и ждать. Потом он мне рассказывал: “Я пришел, сел на скамейку с чувством раздражения и обиды, что так промахнулся и теперь надо терять время, и вдруг почувствовал, что в этом храме есть “что-то” (как он выразился — “какое-то присутствие”). Я тогда стал это анализировать и решил, что это на меня влияет полумрак, мерцание свечей, одурманивающий запах ладана, заунывное пение и (как он выразился напоследок) “коллективная истерика верующих”. Но его это настолько поразило, что он решил проверить и поставил мне вопрос, как я это объясняю. Я ему сказал: “Это присутствие Божие”. — “Этого не может быть, потому что Бога нет!” Я ему предложил прийти и посидеть в церкви, когда никого нет, кроме него и Бога. Он стал приходить и сидеть подолгу, и мне сказал как-то: “Я не знаю, как это назвать, но я теперь знаю, что в этом храме нет пустоты, что в нем есть какое-то как бы “густое”, конкретное присутствие, которое вы, вероятно, называете Богом. Но зачем мне такой Бог — пусть Он и живет в этом храме, — если Он на меня никак не воздействует?” Я ему сказал: “Если не воздействует, Он вам незачем, и не

приходите”. — “Нет, — говорит, — буду приходить, потому что я озадачен еще другим: я заметил, что у людей, которые бывают в церкви, после богослужения и особенно после причащения Святых Таин совершенно иные лица, они на себя не похожи, что-то с ними случается; значит, ваш Бог над ними что-то совершает. Я себя чувствую как бы трупом по сравнению с ними, и мне нужно ожить. Что мне делать, чтобы Бог и надо мной это сделал?” Ну, мы с ним стали встречаться, и со временем он крестился. И таких различных примеров очень много.

Очень многие уходят от веры и, в частности, от Церкви, потому что те или другие выражения, те или другие действия для них связаны с чем-то, что вызывает у них ужас. Я помню одну женщину; теперь она почти сорок лет наша прихожанка. Она ко мне пришла и поставила вопрос: “Что такое Бог?” Я ей ответил: “В Священном Писании Христос нам говорит, что Бог наш Отец”. Она вскочила: “Нет! Нет! Только не это!” Я ее усадил, говорю: “А в чем дело, почему слово “отец” у вас вызывает такой ужас и отвращение?” И оказалось, что ее отец был садист, замучивший всю семью, — для нее слово “отец” значило только это, ничего другого. Тогда мы стали искать другое определение Бога и, конечно, нашли. Видите, как иногда то или другое слово, для нас — родное, свое, понятное, может вызвать ужас в другом человеке. И то же самое можно сказать о целом ряде церковных ситуаций, действий или людей.

Я помню свои первые религиозные опыты. Я был в Австрии в начальной школе, и на первой неделе должен был быть урок Закона Божия. Я был записан как православный, *orthodox*, что в немецких странах значит “правоверный иудей”; православный христианин называется в этих странах “греко-православным”, *griechisch-orthodox*. Это условно, но это просто надо знать. Меня, соответственно, отправили к раввину, тот на меня глянул и спросил: “Почему у тебя нет шапочки?” Я говорю: “Шапочки? Мама меня всегда учила, что в комнате нельзя носить головной убор, потому что там может быть крест или икона”. Он выпрямился: “Ты что, христианин?!” — “Да...” (мне было тогда семь лет, я был вполне наивный). Он сказал: “Вон!” — и я оказался в коридоре, чему был очень рад, потому что одним уроком меньше. Но и этого не получилось; меня в коридоре поймал директор школы, сказал: “Ах, ты христианин?” — и отправил к католику. Тот меня спросил, кто я, что я; и когда я ему объяснил, что я православный, он сказал: “Еретик в моем классе?! Вон!” Это был конец моего религиозного образования. Так вы поймите, что после этого очень льнуть, чтобы тебя кто-то учил христианской вере или иудейской вере, едва ли придется.

Дальше другой опыт был. Когда мы попали во Францию, католики предлагали дать русским мальчикам и девочкам образование: дескать, они пойдут в хорошие школы бесплатно... Меня повели на такие смотрины, был разговор, все было устроено: мы с мамой уходили, и когда мы были уже у двери, священник, нас принимавший, говорит: “Одну минутку, я забыл одно сказать, *конечно*, мальчик станет католиком...” Помню, я тогда повернулся к маме и сказал: “Уходим, я не на продажу!” Это тоже сформировало мое чувство по отношению к тому или другому.

Но не воображайте, что я был мистический мальчик в русском смысле слова. Тогда жизнь была не такая простая, как теперь; то были ранние двадцатые годы. Меня водили раз в год в церковь в Великую пятницу. И первый раз, что я попал в церковь, я обнаружил абсолютно замечательное свойство моей природы; я обнаружил, что если, вступив на три шага в храм, я потяну носом и вдохну ладана, я на месте падаю в обморок и меня уносят домой. И в результате я никогда дальше трех шагов в храм не входил, поэтому у меня ничего общего ни с церковью, ни с Богом не было лет до 14–15-ти. Так что видите, могут быть впечатления такие, которые вас отчуждают от настоящей, хорошей вещи.

А иногда и взрослый человек может быть отчужден. Отец Александр Шмеман, будучи еще подростком, убеждал какую-то знакомую своей матери пойти в церковь исповедоваться перед Пасхой. Она в церковь не ходила, не исповедовалась, не причащалась, — он ее наконец уломал. Она была маленькая, щуплая старушка. Пришла;

исповедальня была темная, священник стоит, она подошла, он покрыл ее голову епитрахилью и спрашивает: “*Отче наш* знаешь?” — “Знаю, батюшка”. — “Скажи...” Сказала. “*Верую* знаешь?” — “Знаю”. — “Скажи...” Сказала. “Ну вот, а теперь скажи честно: маму слушалась? варенье таскала?..” Он ее принял за маленькую девочку по росту... Она после этого вылетела из исповедальни, пошла к Саше с гневом и негодованием: “Вот куда ты меня послал: мне семьдесят с лишним лет, а меня спрашивают, слушаюсь ли я маму и не краду ли варенье!” Так знаете, бывает и такое; и порой это может человека действительно отчуждить от чего-нибудь.

Есть люди верующие и очень религиозные, но в церковь они не ходят и говорят: “Зачем? Бог внутри нас...” Что это за состояние?

Я думаю, что есть два типа людей. Одни пленяются православием через богослужение, — или положительно, или не-положительно, должен сказать, потому что некоторые люди пленяются богослужением, даже не входя в смысл молитв или происходящего. Они уносятся в какие-то свои глубины — пением, мерцанием свечей, общей настроенностью. Я не говорю, что это плохо само по себе, но это не ведет туда именно, куда Церковь зовет. Иногда люди даже умиляются такими вещами, которых нет в богослужении; люди превратно понимают, хотя до них нечто и доходит. Помню старушку, которая мне говорила: “Как замечательно, что в православии вся тварь Божия как бы держится перед лицом Божиим, — я всегда плачу, плачу, когда поют: “Господи, воззвах к Тебе, я крокодила пред Тобою...”” Она умилялась, потому что чувствовала: вот, вся тварь, и животные тут, и я тут... Она умилялась вполне справедливо, то есть я хочу сказать, что ничего плохого в этом не было, она уносилась душой к Богу, но, конечно, не на том основании, которое ей давала Церковь. Это небольшая беда, хотя можно было бы избежать такого рода отсутствия понимания. Но есть вещи гораздо более серьезные.

Есть люди, для которых Церковь — просто откровение, потому что они в ней что-то увидели. Я вам пример могу дать. Я принимал в православие уже давным-давно одного молодого человека. Он был сыном методистского пастора, который сам ко мне пришел и сказал: “Знаете, мой сын почти глухой. Он ходит к вам в церковь, потому что у методистов все построено на слове: пение и проповедь; а у вас что-то *происходит*, и он смотрит и понимает, *что* происходит. Можете ли вы его принять?” Я его тогда подготавливал; читать он умел и сколько-то слышал, говорил с большим трудом, то есть мне пришлось учиться его понимать, а не ему — меня. Для него Православная Церковь оказалась Церковью, в которой он может молиться, потому что он как бы мог молиться глазами, уши ему не были нужны. Когда он познакомился со значением нашего богослужения, он за ним мог следить глазами, зная: теперь я на таком-то или таком-то месте.

А есть другой тип людей, которые пришли к Богу не обязательно через Церковь, а через какой-то внутренний опыт, и для кого Церковь может оказаться родным домом.

Но для некоторых то, что происходит в Церкви, оказывается настолько сложно и, порой, чуждо, что это им мешает в духовной жизни. Я думаю, что такие люди имеют полное право быть верующими, жить духовной жизнью на том уровне и на том основании и в таком виде, в каком они живут. В какой-то момент они, через свой внутренний опыт, может быть, уловят опыт других людей, который смогут разделить с ними в храме, в Церкви, в молитве. Но нельзя говорить: “Раз он не ходит в церковь, он не наш” или: “Он ошибается, неправ”. Я думаю, что люди приходят к вере очень различно в этом отношении. И меня несколько пугает то, что часто происходит в Русской Церкви: людей стараются научить, *как себя вести*, тогда как надо было бы им говорить: “Веди себя, как хочешь (ну, в пределах разума или приличия) и жди, чтобы в тебе родились такие чувства, которые сделают для тебя естественным то, чего Церковь от тебя ожидает и что верующие делают”. Святой Августин в своих писаниях говорит: “Научись любить и делай, что хочешь”. Это не означает, конечно, произвола, это не значит: “Бесчинствуй,

развратничай”. Но это значит: не заковывайся с начала в форму, потому что она тебя задушит, если это не естественная *твоя* форма.

Я знаю, например, людей, которые были неверующие, потому что думали, что быть верующим значит быть некультурным, и вдруг, прочитав то или другое произведение, скажем, Достоевского, обнаружили, что можно быть высококультурным человеком, с большим умственным размахом, — и будучи верующим. И это им помогло, им перестало быть “стыдно” быть верующим. Есть другие люди, которые обнаруживают в себе какой-то внутренний голод по чему-то, что нематериально, невидимо, обнаруживают неосязаемый мир. Они решаются питать эту свою нужду всем, что может ее напитать: какой-то молитвой, каким-то переживанием хотя бы в природе, какими-то переживаниями от чтения той или другой литературы. В них развивается, зреет внутренняя духовная жизнь, и встретивши Евангелие или человека, который может им Евангелие передать (не научить словами, а как-то перелить из души в душу), обретают Христа и идут дальше. Пути очень разные. Я думаю, что никогда не нужно человеку говорить, что его путь неправый.

Есть церкви, куда тяжело ходить: там считают, что можно быть православным, только если ты русский. Такой дух многих отталкивает. Отчасти понимаешь, почему старая Россия погибла...

Везде есть изуверы, которые говорят: “Кто не с нами, тот не со Христом”, но это бред. И это очень сложный вопрос. Группе русских людей невозможно перестать быть русскими, но совсем другое дело — быть русскими в каком-то агрессивном плане. Я помню себя в ранней эмиграции: меня поражало тогда, что, с одной стороны, там были, можно сказать, только русские, но, с другой стороны, когда кто-нибудь приходил извне, его принимали с такой радостью, какую вообще приписывают русскому радушию, русскому гостеприимству. Его не спрашивали: кто ты, что ты, какие твои убеждения, а: “Ты гость, все гости нам даны от Бога. Приди; какая радость, что ты пришел, ты с нами разделяешь нашу молитву. Если мы можем с тобой поделиться тем, что у нас в сердце, в уме, в душе, бери это, оно твое, пожалуйста...”

Мне кажется, сложнее стало впоследствии, когда первая, основная группа русской эмиграции начала разбавляться людьми, которые приходили в Церковь, но приобщиться хотели только с религиозной точки зрения. Я не хочу сказать, что они должны были приобщаться культуре, но они уже чувствовали: мы имеем право быть самими собой... Здесь у нас был период, когда мне было подано прошение около ста человек, считавших: “Хватит русского богослужения, нас достаточно для того, чтобы все службы были на английском языке...” Тогда у нас было очень жуткое общее собрание, где я выражался с такой резкостью, которой некоторые наши старые прихожане забыть не могли, — им стыдно было, что можно так говорить с людьми. Основа была такова в тот момент: “Вы полноправные православные в этом храме, но вы — гости Русской Церкви, и вы не имеете права лишать русских, которые и так всего лишились, единственного, что у них остается...” Теперь это уравнивается, теперь русские старожилы легко принимают тех, кто извне приходит, а русские новой эмиграции, я думаю, не страдают таким церковным национализмом, которым еще несомненно страдают некоторые группы.

Но я думаю, что нам надо помнить реальность ранней Церкви: в ранней Церкви собирались на молитву люди всех сословий, всех языков и всех народностей; причем рядом стояли раб и его хозяин, которые не могли бы вне церкви рядом стоять; стояли люди разных языков: и покоренные народы, и властвующие народы. Все собирались только по одному признаку: веры во Христа. В тот период верить во Христа значило идти на абсолютный риск, что тебя, если обнаружат — будут пытаться и на смерть пошлют. Поэтому приходили на такое молитвенное собрание только те люди, которые были готовы жизнью и смертью верить. Нам очень легко приходиться в церковь, никто нас не тронет. Из-за этого мы приходим без той отдачи, той убежденности и той готовности пойти на любой

риск, и мы начинаем разделяться на группы: “ты не говоришь по-русски, ты не говоришь по-английски, ты говоришь на другом языке...” Я думаю, с этим надо бороться, но, опять-таки, бороться не тем, чтобы говорить: “Ты неправ!..” Как только человеку говоришь, что он неправ, он чувствует себя правее тебя, считает, что ты на него нападаешь. Надо как-то уметь до его сознания довести.